

ISSN 0132-1366

АКАДЕМИЯ НАУК
СССР

Советское
славяноведение

4
1991



• НАУКА •

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ

СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ
И БАЛКАНИСТИКИ

Советское славяноведение

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

ИЮЛЬ — АВГУСТ

СОДЕРЖАНИЕ

4

1991

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В ЯНВАРЕ
1965 г.

МОСКВА
«НАУКА»

ДИСКУССИИ

Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы накануне нападения Германии на СССР (сентябрь 1940 — июнь 1941 гг.)	3
Кузнечевский Вл. Д. Письмо в редакцию	24

СТАТЬИ

Гибианский Л. Я. К истории советско-югославского конфликта 1948—1953 гг.: Секретная советско-югославо-болгарская встреча в Москве 10 февраля 1948 года	27
Валентина Я. (ЧСФР) «Дело» маршала М. Н. Тухачевского (к вопросу о хронологии и интерпретации)	37
Василевски Тадеуш (ПР). Славянское происхождение солунских братьев Константина-Кирилла и Мефодия	49
Хорева О. А. Актуальные вопросы изучения культуры Чехии середины XIX в. (От «чешской культуры XIX в.» — к изучению культуры этнически неоднородного общества Чешских земель. К постановке проблемы)	60
Петрова Л. Я. К вопросу о древнеславянском переводе Слов Григория Богослова	70
Молошная Т. Н. Аналитические формы косвенных наклонений в славянских языках	76

СООБЩЕНИЯ

Клейн Л. С. Языческий подход к лингвистике	88
Кишкун Л. С. Срезновский в Словакии (По материалам семейного архива)	93
Мароевич Радмило. (СФРЮ). Первые русские переводы Хасанагиницы (поэтическая полемика Востокова и Пушкина)	100

ОБЗОРЫ И РЕДЕНЗИИ

<i>Полъеванни Д. И. Ангелов П. Българската средновековна дипломация</i>	106
<i>Пахомов Ю. В. Dašić M. Uvod u istoriju sa osnovama pomoćnih istorijskih nauka</i>	109
<i>Аникин А. Е. A. Sabaliauskas. Lietuvii kalbos leksika</i>	110
<i>Орел В. Э. Цыганенко Г. П. Этимологический словарь русского языка</i>	112

ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

<i>Мельников Г. П. Království dvojího lidu. České dějiny let 1436—1526 v soudobé korespondenci</i>	114
<i>Серапионова Е. П. Е. Ф. Фирсов. Эволюция парламентской системы в Чехословакии в 20-е годы. Спецкурс</i>	115
<i>Л. К. Известия о России в чешских календарях XIX века</i>	116
<i>Васильев М. А. Джон Симон Габриэль Симмонс. Указатель славяноведческих работ. Составитель А. Б. Свидер</i>	118

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Горянинов А. Н. Марбургское заседание Международной комиссии по истории славистики</i>	119
<i>Будагова Л. Международная конференция «Демократическая концепция мира в творчестве Карела Чапека и тоталитаризм XX века»</i>	121
<i>Масленникова Е. Н. 175-летие Людовита Штура</i>	124
<i>Венедиктов Г. Памяти Юрия Сергеевича Маслова</i>	125
<i>Новые книги</i>	127

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**И. И. ПОН (главный редактор), В. К. ВОЛКОВ, Р. Н. ГРИПИНА,
 А. А. ГУГНИН, В. А. ДЬЯКОВ, А. А. ЗАЛИЗНЫК, М. С. КАШУБА,
 В. П. КОЗЛОВ, М. Н. КУЗЬМИН, Г. Г. ЛИТАВРИН (зам. главного редактора),
 Г. Ф. МАТВЕЕВ, С. В. НИКОЛЬСКИЙ, Ю. С. НОВОПАШИН, А. Ф. НОСКОВА,
 Л. Н. СМИРНОВ (зам. главного редактора), Л. А. СОФРОНОВА, Б. Н. ФЛОРЯ,
 ВАСИЛЬЕВ М. А. (отв. секретарь)**

Зав. редакцией *E. В. Пономарёва*



ДИСКУССИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ НАКАНУНЕ НАПАДЕНИЯ ГЕРМАНИИ НА СССР (сентябрь 1940 — июнь 1941 гг.)

Предлагаемый читателю «круглый стол», подготовленный сектором истории международных отношений Института славяноведения и балканистики АН СССР (ИСБ) и проведенный в начале декабря 1990 г., завершает серию опубликованных журналом (см. «Советское славяноведение», 1989, № 5; 1991, № 1) дискуссий по вопросам международных отношений в Европе накануне и в начальный период второй мировой войны. Однако журнал планирует и далее обращаться к данной проблематике, до сих пор испещрённой множеством «белых пятен».

ВОЛКОВ В. К., д-р ист. наук, директор ИСБ

Период, события которого мы сегодня поставили в качестве предмета обсуждения, это примерно год до нападения Германии на Советский Союз, что и определяло характер происходившего в то время. В принципе о событиях этого периода известно очень многое. Но следует сказать, что реальная политика в регионе Центральной и Юго-Восточной Европы (ЦЮВЕ) тогда осуществлялась не только методами официальной дипломатии, а в значительной степени методами разведслужб. Балканы были своеобразным полигоном всех разведывательных организаций: германской, советской, британской (начальник болгарской полиции Н. Гешев, например, являлся британским агентом). Вторгалась туда и молодая американская разведка (миссия Доновена). Но как раз эта сторона труднее всего поддается исследованию, ибо ни одна разведслужба историкам своих документов полностью никогда не откроет.

Второе «белое пятно» относится к советской внешней политике. Мы до сих пор не знаем ее движущих мотивов и стимулов. Советской политике сталинского периода вообще, а в 1940—1941 гг. в особенности, была присуща глубокая раздвоенность, когда аргументация выдвигалась одна, действия были другими, а уж последствия совершенно непредсказуемыми, даже не предвиденными руководством НКИД. Это была в полном смысле слова «кухаркина дипломатия».

Когда мы говорим о внешней политике в регионе ЦЮВЕ, нужно иметь в виду два уровня: во-первых, политику великих держав в этом регионе; во-вторых, влияние ее на сложный клубок противоречий между балканскими странами. Это затрудняет общее понимание и видение тех направлений внешней политики, которые проводились каждой из сторон. Но сначала, конечно, следует разобраться в характере глобальной расстановки политических сил. Нужно прежде всего сказать о последствиях разгрома Франции и исчезновения ее как великой державы из мировой политики. Этого не предвидели ни западные державы, ни советское руководство. Последнее не удивительно, поскольку прогнозистом Сталин не был. Его можно назвать хорошим тактиком, но не стратегом.

Международные последствия поражения Франции были совершенно уникальными. И они сказались сразу, и в первую очередь — на темпах

формирования англо-американского союза. На следующий же день после разгрома Франции англо-американский союз вступил в строй действующих. Начиная с этого момента, можно говорить о совместной англо-американской политике, в том числе и на Балканах. Это, во-первых. Во-вторых, полностью изменилась позиция Японии. Если до лета 1940 г. отношения между Японией и Германией были весьма прохладными вследствие заключения германо-советского пакта, то теперь начались очень быстрые переговоры о заключении Тройственного пакта. И этот глобальный фашистский блок был создан уже в сентябре 1940 г. В-третьих, в очень сложном положении оказался Советский Союз. С одной стороны, Сталин решил воспользоваться создавшейся ситуацией и решить проблему Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Но все это было сделано предельно грубо, топорно, в свойственном Сталину имперском стиле, принесло Советскому Союзу впоследствии много хлопот и вызывает их до сих пор. С другой стороны, после разгрома Франции совершенно чудовищное ускорение получила внешнеполитическая программа Гитлера. И если Сталин решал проблемы тактические, то Гитлер уже начал решать стратегические в смысле подготовки нападения на СССР. 31 июля 1940 г. Гитлер отдал распоряжение о начале разработки конкретного плана нападения на Советский Союз, получившего в декабре того же года наименование «план „Барбаросса“». И одновременно, 1 августа 1940 г. на заседании Верховного Совета выступил В. М. Молотов со своей печально знаменитой речью, в которой говорилось, что в основе отношений между Германией и СССР лежат не случайные приводящие факторы, а коренные государственные интересы Советского Союза и Германии...

Перед советским руководством тогда возник вопрос: что делать? Решается он двойной бухгалтерией. С одной стороны, указанное заявление Молотова, а с другой — серия бесед посланника Югославии М. Гавриловича с советскими руководителями об угрозе Германии славянским странам, необходимости сплотиться. Беда только в том, что все сообщения югославского посланника из Москвы очень скоро оказывались в Берлине, поскольку у германской разведки имелся агент в МИД Югославии. Так что двойная бухгалтерия себя не оправдала. Она только показала двойственность советской политики. Германия же, начиная с августа 1940 г., фактически перестала считаться с реальными интересами Советского Союза и совершила действия, нарушавшие советско-германский пакт о ненападении. Первым таким актом стало проведение второго Венского арбитража, где была решена судьба Трансильвании. Советской стороной германской дипломатии было заявлено, что это расценивается как нарушение договоренности между Германией и Советским Союзом. Затем последовала попытка созвать экспертов по Дунаю без СССР, вызвавшая протест советского правительства, поскольку СССР уже стал, после присоединения Бессарабии, дунайской державой. Началась серия переговоров по Дунаю, длившаяся примерно два месяца. На рубеже октября — ноября 1940 г. переговоры зашли в тупик. Третья проблема заключалась в появлении так называемых учебных германских войск «военной миссии» на территории Румынии. Тут последовал уже формальный протест Молотова о нарушении Германией условий советско-германского договора. С этого момента мы наблюдаем эскалацию советско-германских противоречий на Балканах. Но при этом возникают вопросы: имели ли эти противоречия тактический или стратегический характер? как их оценивала советская сторона? каковы были действительные цели советской внешней политики на Балканах? Что касается целей, то это было желание твердо закрепить свои позиции в данном регионе, рассматривавшемся как зона безопасности Советского Союза. В результате появление германских войск в Румынии трактовалось как барьер, который немцы выставили, чтобы отсечь Советский Союз от Балкан или Балканы от Советского Союза. И ставилась задача: барьер разрушить! Но как? Путем установления тесных отношений с Болгарией и Югославией. Однако тот, кто планировал советскую внешнюю политику, явно не знал балканских реалий. Югославия и Болгария в одном блоке были несовместимы.

Поставленные задачи имелись в виду во время визита Молотова в Берлин. В этом время Гитлер предложил СССР присоединиться к Тройственному пакту. Характерно, что Молотов не отверг это предложение, но выдвинул четыре условия присоединения. Условия такие, что над ними крепко призадумалась. И опять возникает вопрос: была ли это тактическая или стратегическая линия? Я лично склонен думать, что здесь не было ни глубокой стратегии, ни глубокой тактики, в Москве просто хотели выиграть время. Мне кажется, что тогда никакой продуманной линии во внешней политике не было, потому что шараханье из стороны в сторону, допускавшееся советской дипломатией, попросту чудовищно.

26 ноября 1940 г. Советский Союз ответил на предложение Германии о присоединении к пакту, выдвинув при этом четыре условия: вывод германских войск из Финляндии и Румынии; заключение договора о дружбе и взаимопомощи между СССР и Болгарией и создание советских баз в зоне проливов; признание советской зоны интересов к югу от линии Батум-Баку; отказ Японии от всех дальневосточных притязаний, сахалинских концессий и т. д. Совершенно очевидно, что мы имеем дело с такой группой вопросов, которую трудно увязать во что-то единое. Воистину, «кухаркина дипломатия» в действии. К тому же, ответу от 26 ноября предшествовало прямо противоположное заявление ТАСС от 23 ноября о том, что СССР не одобряет присоединение Венгрии к Тройственному пакту.

Теперь посмотрим, какова была балканская политика СССР. В Софию 25 ноября 1940 г. прибыл советский дипломат А. А. Соболев. В советских документах об этом ни слова. А после его отъезда в Софию распространялись листовки, в которых говорилось, что СССР предлагает удовлетворение болгарских территориальных претензий — присоединение Адрианополя, выход Болгарии в Эгейское море. Одновременно в Москве в беседе с послом Турции Актаем советские представители заявляют, что СССР понимает заинтересованность Турции в обеспечении ее безопасности и хочет даже помочь ей в этом. В то же время советский посол в Афинах ведет переговоры о поставках оружия Греции. Как все это согласуется? Ведь совершенно очевидно, что в «балканском дипломатическом мешке» щила не утаишь. Там все всё друг о друге знают. Ничего, кроме компрометации дипломатии СССР, в итоге не получилось. И этот курс держится долго, вплоть до весны 1941 г., когда сам объект курса исчезает. Семь месяцев для периода войны — это гигантский срок!

В то же время в Москве были убеждены, что западные державы пытаются на Балканах столкнуть Германию и СССР. Об этом говорят многие источники, прежде всего разведывательного характера. В тот момент у СССР был хороший источник информации в Лондоне — Ким Филби. Английская дипломатия действительно считала, что в создавшихся условиях СССР и Великобритания — «естественные союзники» против германской экспансии на Балканах. Американцы проводили мощную кампанию дезинформации Германии через известных им немецких резидентов в западном полушарии. Был и третий источник, а именно германская дезинформация, маскировавшая мероприятия по подготовке нападения на Советский Союз. О ней мы знаем совершенно недостаточно.

В этой связи хотелось бы обратить внимание на миссию Доновена на Балканах. Доновен был личным представителем Рузельта и целью поездки являлось создание антигерманского фронта на Балканах. При этом все его действия тесно координировались с британскими представителями и спецслужбами на Балканах. С Доновеном происходили странные вещи. Как известно, в Софии у него пропал бумажник с секретнейшими документами. Об их содержании можно только гадать. Можно также предположить, что в основном они содержали секреты германской стороны и раскрывали планы Гитлера. Как «пропал» бумажник, дело запутанное, на этот счет существует много фантастических домыслов. Важно, к кому он попал? Я смотрел разные немецкие материалы, в них и намека нет на то, что Берлин получил этот бумажник. Я глубоко убежден в том, что бумажник Доновена с документами хранится в одном из сейфов где-то в переулках близ Лубянки. Именно после пропажи докумен-

тов генерал армии Голиков, начальник Главного разведывательного управления Красной Армии, уверенено пишет о своих донесениях: «Как известно, американцы и англичане провоцируют столкновение на Балканах». Возможно, это была сознательно подстроенная утечка информации. Но с какой целью? Конечно, не для того, чтобы столкнуть Россию и Германию лбами.

Цель была иной — шла борьба за союзника. И в этой борьбе можно даже поставить определенные вехи. Начало января 1941 г., беседа госсекретаря К. Хэлла и его заместителя С. Уэллеса с послом СССР в США К. А. Уманским, которому открытым текстом говорится: американское правительство располагает сведениями о начавшейся подготовке гитлеровской Германии к нападению на Советский Союз. Вы знаете, что являлось самой большой тайной второй мировой войны? Это проблема «Энигмы». «Энигма» — шифровальная машина германского Генерального штаба. К ней подбирали ключи многие, но наибольший вклад внесли поляки и чехи, а результаты передали английской разведке, создавшей целый городок дешифровальщиков, где работали в годы войны около 40 тыс. человек. Они читали всю секретную переписку германского Генерального штаба. Именно в этом отгадка секрета, почему со столь малыми силами англичане добились таких больших успехов в борьбе против Германии. Короче говоря, первое сообщение Уэллеса Уманскому — также результат работы английских дешифровальщиков. В январе 1941 г. американцы снимают так называемое «моральное эмбарго» на торговлю с СССР. Целый ряд мероприятий аналогичного порядка проводят англичане. Более того, 13 июня 1941 г., т. е. за день до публикации печально знаменитого сообщения ТАСС, Иден заявил Майскому, что в случае германского нападения СССР может рассчитывать на полную поддержку и лояльность Британской империи.

Итак, где-то с конца 1940 — начала 1941 г. Великобритания и США начинают борьбу за создание антигитлеровского блока. Единственным, кто сопротивлялся, был Советский Союз. И сопротивлялся энергично и упорно. Думаю, что миссия Доновена была одним из ходов в этой политике.

И последнее. Существовала ли переписка Гитлера со Сталиным? Сейчас появилось много спекуляций и о встрече двух диктаторов. В последнее я не верю. Но переписка между ними была. Известно, что Гитлер переписывался буквально со всеми руководителями, с которыми он вступал в какие-либо контакты. Начало ей положил обмен телеграммами, который сопровождал подписание советско-германского пакта о ненападении. Мне кажется, что эта переписка с немецкой стороны была уничтожена (вспомним историю с уничтожением секретных протоколов пакта Риббентроп — Молотов). Но следы переписки искать надо. Существуют следы готовившейся встречи двух диктаторов. Я долго думал, зачем Сталину потребовался пост председателя СНК, на который он вступил 6 мая 1941 г.? Вряд ли это давало ему какие-то новые права или полномочия. Но, вероятно, ввиду намечавшейся встречи ему был необходим не просто партийный, но государственный пост. Более того, был даже сделан многозначительный внешнеполитический жест в сторону Гитлера после занятия Сталиным поста председателя СНК — разрыв дипломатических отношений с Бельгией, Норвегией и Югославией (8 мая 1941 г.).

ФИРСОВ Ф. И., д-р ист. наук, зав. сектором (Ин-т марксизма-ленинизма ЦК КПСС)

Когда думаешь о реакции наших историков на проблемы советской внешней политики конца 30-х — начала 40-х годов, то невольно приходит в голову известный чеховский персонаж, который дал чеканную фразу: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».

Напомню ситуацию в связи с протоколами к советско-германскому пакту о ненападении и то, как некоторые наши специалисты категорически отрицали их существование. Нечто аналогичное, по-моему, сейчас происходит с вопросом о возможности вступления Советского Союза в Тройственный пакт. В журнале «Новое время» (1990, № 48, с. 34—37)

опубликована статья публициста-международника Л. Безыменского, в которой вполне аргументированно и обоснованно доказывается абсурдность версии историка Д. Наджафова о якобы имевшей место встрече Сталина с Гитлером. Но вот, исследуя вопрос о возможности вступления СССР в Тройственный пакт, автор цитирует четыре условия вступления, которые были выдвинуты Сталиным. И пишет, что спор о смысле и подоплеке советского ответа идет до сих пор, что трудно принять версию, будто Stalin всерьез планировал подобную акцию. Мне кажется, что и в данном случае сработал принцип «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».

Я хочу рассмотреть несколько архивных документов из Центрального партийного архива в Софии (ф. 14б, оп. 2, ед. хр. 6), которые, полагаю, проливают свет на эти вопросы.

25 ноября 1940 г. Г. Димитров был вызван в Молотову. В записи Димитрова о беседе читаем: «У Молотова. Говорили о Болгарии. Указал ему, что необходимо принять срочные меры, чтобы Болгария не попала под исключительное влияние Германии и не была бы использована как ее послушный инструмент. Молотов: Мы действуем в этом направлении. Как раз сегодня будем обсуждать ряд конкретных мер. В Берлине мы с немцами не заключили никакого соглашения и не принимали никаких обязательств. Немцы обрабатывают теперь Турцию. И это, они считают, главное. Что будет делать Турция, трудно предвидеть. Но мы следим внимательно, что там делается, и то, что вокруг Турции происходит. Немцы хотят представить, что мы одобрили их планы на Балканах. Зато мы опубликовали опровержение по поводу присоединения Венгрии к Тройственному пакту. Теперь все будут знать, что мы не давали никакого согласия. Димитров: Мы ведем курс на разложение оккупационных немецких войск в разных странах. И эту работу, не крича об этом, хотим еще больше усилить. Не помешает ли это советской политике? Молотов: Конечно, это надо делать. Мы не были бы коммунистами, если бы не вели такой курс. Только делать это надо бесшумно».

Димитров вернулся от Молотова к себе. Но тут же, видимо, раздался телефонный звонок. Следующая запись Димитрова: «Только что вернулся в Коминтерн, был вызван к Сталину. Застал там Молотова и Деканозова. Stalin: Мы сегодня делаем болгарам предложение о заключении пакта о взаимопомощи. Не гарантии, как, видимо, болгарский посол Семенов (скорее всего, Стаменов, у Димитрова описка. — Ф. Ф.) раньше неправильно понял Молотова, предлагаем мы, а пакт о взаимопомощи. Мы указываем болгарскому правительству, что безопасности обеих стран угрожается со стороны Черного моря и проливов и требуются совместные усилия для обеспечения этой безопасности. Историческая опасность шла всегда отсюда: Крымская война, занятие Севастополя, интервенция Брангеля в 1919 году и так далее. Мы поддерживаем территориальные претензии Болгарии. Линия Мидия — Энос (Адриатическая область Западной Фракии — Додеагач — Драма и Кавала). Мы готовы оказать болгарам помощь хлебом, хлопком и так далее в форме займа, а также флотом и другими способами. Если будет заключен пакт, конкретно договоримся о формах и размерах взаимной помощи. При заключении пакта о взаимопомощи мы не только не возражаем, чтобы Болгария присоединилась к Тройственному пакту, но тогда и мы сами присоединимся к этому пакту. Если болгары не примут это наше предложение, они попадут целиком в лапы немцев и итальянцев и тогда погибнут. В отношении Турции мы требуем базы, чтобы проливы не могли быть использованы против нас. Немцы, видимо, хотели, чтобы итальянцы стали хозяевами проливов. Но они сами не могут не признать наших преимущественных интересов в этой области. Мы турок выгоним в Азию. Какая это Турция! Там два миллиона грузин, полтора миллиона армян, один миллион курдов и так далее. Турок только 6—7 миллионов. Главное теперь Болгария. Если такой пакт будет заключен, Турция не решится воевать против Болгарии. И все положение на Балканах иначе будет выглядеть. Неправильно считать Англию разбитой. Она имеет большие силы в Средиземном море. Она непосредственно стоит у проливов.

После захвата греческих островов Англия усилила свои позиции и в этой области. Наши отношения с немцами внешне вежливые, но между нами есть серьезные трения. Предложение болгарскому правительству сегодня передано. Наш пратеник (полпред) уже был принят Филовым. Скоро будет принят и царем Борисом. Нужно, чтобы это предложение знали в широких болгарских кругах. (Решили вызвать Стаменова, чтобы ему сообщить сделанные Софию предложения)».

Вернувшись к себе, Димитров немедленно посыпает в Софию Болгарской компартии телеграмму: «Советское правительство сегодня отправило болгарскому правительству конкретное предложение по заключению пакта о взаимопомощи. Советское правительство считает, что обеспечение безопасности Болгарии и Советского Союза в отношении Черного моря и проливов и сохранение мира — это жизненный интерес обеих стран и для этого требуются совместные усилия. Советский Союз поддерживает справедливые территориальные претензии Болгарии и возвращение Одринской области, линии Мидия — Энес — Западная Фракия — Дедагач — Драма — Кавала, и окажет Болгарии всемерную помощь. При заключении такого пакта Советский Союз не только не возражает против присоединения Болгарии к Тройственному пакту, но и сам присоединится к этому пакту. Это предложение передано сегодня царю Борису и Филову. Примите самые быстрые и энергичные меры, чтобы это предложение стало достоянием в парламенте и вне его, в печати и массах. Мобилизуйте для этих целей наших депутатов. Разверните самую энергичную кампанию по всей стране в пользу этого предложения. Добивайтесь немедленного и безусловного приема этого предложения. Оно решит на долгие годы судьбы болгарского народа. Подтвердите тотчас получение этого сообщения. Держите нас ежедневно в курсе кампании и событий. И сообщайте о том, как реагируют правительство и другие слои».

26 ноября Димитров посыпает Сталину телефонограмму, в которой говорится: «Вчера вечером я передал болгарским товарищам в Софии предложение, сделанное Советским правительством Филову и царю Борису. Из Софии нам уже подтвердили получение этого сообщения. Одновременно ЦК Болгарской партии сообщает, что в Болгарии проводится усиленная мобилизация, войска срочно сосредоточиваются на турецкой и греческой границах».

Таким образом, дело не ограничивалось ответом Сталина германскому правительству о вступлении Советского Союза в Тройственный пакт на определенных условиях. И это, как представляется, не было просто дипломатическим маневром. В Болгарии началась та самая листовочная кампания о которой говорил В. К. Волков, и события получили совершенно неожиданный поворот. Вечером 28 ноября Димитрову позвонил Молотов из кабинета Сталина. И Димитров записывает: «Наши в Софии распространяли листовки по поводу советского предложения Болгарии. Дураки! Отправил указание, чтобы прекратили эту вредную глупость». В последующие дни советское руководство и Димитров еще несколько раз возвращались к этому вопросу. В результате Димитров дает новую директиву Болгарской компартии: «Кампания о пакте не должна носить партийный, антибуржуазный, антидинастический и антигерманский характер. Надо ее вести не на классовой, а на общенациональной и государственной почве». Ну, а 20 декабря последовал разговор по телефону Димитрова с Молотовым о Болгарии: «Молотов. Болгарское правительство отклонило советское предложение, опасаясь вовлечения в войну и так далее». Приведенные документы позволяют сделать определенные выводы. Во-первых, в тот период в результате очередного витка сталинской политики наша страна подошла к краю бездны, ибо вхождение Советского Союза в условиях войны в Тройственный пакт могло повлечь за собой и вовлечение нашей страны в войну на стороне этого пакта. Последствия были бы непредсказуемы. Кстати, существуют некоторые доказательства того, что у Сталина в начале второй мировой войны были серьезные иллюзии в отношении Германии. Он полагал, что война последней против Англии и Франции может принять «анти капиталистическую направленность». Во-вторых, эти документы, а также целый ряд

других, с которыми мне удалось познакомиться в последнее время, не оставляют никакого сомнения в отношении того, что Коминтерн в тот период был внешнеполитическим инструментом в руках советского руководства и очень четко выполнял эту свою служебную роль.

ГРИГОРЬЯНЦ Т. Ю., канд. ист. наук, научн. сотр. (ИСБ)

Вокруг предположения, высказанного д-ром ист. наук Д. Наджафовым о секретной встрече Сталина и Гитлера во Львове 17 октября 1939 г., в прессе развернулась дискуссия. Мне представляется, что сам предмет полемики не столь важен: встречались ли лично в тот день драматической осени 1939 г. два диктатора — Гитлер и Сталин. Гораздо важнее факт, который нельзя опровергнуть: между Гитлером и Сталиным существовал говор, зафиксированный в позорных пакте о ненападении от 23 августа 1939 г. и секретном протоколе к нему, а также в договоре о дружбе и границе от 28 сентября 1939 г. и протоколах к нему, приведших к совместному разделу Польши и начавшейся после этого, в соответствии с договоренностю о разделе «сфер влияния и государственных интересов», перекрайке карты Европы. Развитие «дружественных» советско-германских отношений, начавшееся в августе 1939 г., шло к своему апогею, присоединению к Тройственному пакту. 25 ноября 1940 г. в ответ на обращение из Берлина Молотов сообщил Шуленбургу о готовности советского руководства принять предложение о присоединении к Тройственному пакту на определенных условиях. Нет сомнения, что Сталин шел на это «всеръез», что этот шаг не был ни дипломатическим ходом, ни хитроумной уловкой или военной хитростью. Логика событий и все развитие советско-германских отношений с августа 1939 г. до 22 июня 1941 г. говорят о том, что Сталин сознательно искал говора с Гитлером, пошел на него с целью скоординировать свои имперские интересы с агрессивными намерениями Гитлера путем раздела «сфер влияния и государственных интересов». Есть основания думать, что идея подобного говора могла зародиться у Сталина еще осенью 1938 г., в период Мюнхена. Сталин, по всей вероятности, рассудил, что он не хуже Чемберлена и Даладье сможет договориться с Гитлером. Если два западных политика пошли на «умиротворение агрессора», то у Сталина родилась мысль о говоре с ним. Дело шло к созданию инфернального союза четырех держав (Германии, Италии, Японии, СССР). И кто знает, каков был бы дальнейший ход исторических событий, если бы Гитлер принял условия Сталина. Но этого не произошло, ибо столкнулись имперские устремления двух диктаторов. Грубые дипломатические просчеты, политическая близорукость, патологическая ненависть к «западным демократиям» не позволили Сталину объективно оценить стратегические и тактические замыслы своего партнера — фашистской Германии.

ВАЛЕВА Е. Л., канд. ист. наук, ст. научн. сотр. (ИСБ)

Известно, что сразу после подписания Тройственного пакта Германия стала активно добиваться присоединения к нему государств ЦЮВЕ. Первое предложение о присоединении к пакту было сделано Болгарией 16 октября 1940 г., причем в ультимативной форме. Болгария в тот период продолжала придерживаться нейтралитета. Будучи тесно связана с Германией, она стремилась в то же время остаться вне войны, не брать на себя никаких внешнеполитических обязательств. Ответные дипломатические шаги болгарских властей свидетельствуют об их попытках отказаться от присоединения к пакту, однако написк германской дипломатии не прекращался. 17 ноября 1940 г. болгарский монарх вместе с министром иностранных дел И. Поповым тайно вылетели на встречу с Гитлером в его резиденцию Берхтесгаден. На требование фюрера подписать пакт царь Борис пытался возражать, приводя в качестве аргументов неподготовленность Болгарии к войне, экономические выгоды, которые получит Германия, если Болгария останется вне военных действий, опасность со стороны Турции, наконец, возможность осложнения отношений с Советским Союзом. Царь Борис спросил, зондировался ли этот вопрос немцами во время ноябрьской встречи с Молотовым? В ответ Гитлер заявил, что «большевики

зондировали наше мнение о возможном создании военных баз в Болгарии», и подчеркнул, что Германия поддержит болгарскую сторону в вопросе о советских базах лишь в том случае, если Болгария подпишет Тройственный пакт. Несмотря на подобный шантаж, царь Борис отклонил предложение фюрера. Таким образом, на этом этапе попытки Германии включить Болгарию в свою коалицию потерпели провал.

25 ноября в Софию прибыла миссия А. Соболева. То, что Борис считал шантажом со стороны Гитлера — требование Советским Союзом создания своих военных баз в Болгарии, — Соболев предложил ему подкрепить пактом о взаимной помощи. И если Гитлер недвусмысленно угрожал войсками, то Сталин оказывал на жим на правительство Болгарии через ее собственный народ: по всей стране началась массовая кампания за принятие советского предложения, вошедшая в историю Болгарии под названием «соболевской акции». Как писал Б. Филов, миссия А. Соболева подтолкнула царя Бориса к преодолению колебаний в отношении присоединения к Тройственному пакту: что следует за созданием советских баз болгары знали, на их глазах разыгралась драма Прибалтийских республик.

В дополнение к тем документам, которые привел Ф. И. Фирсов, я бы процитировала еще некоторые. В отчете Внутреннего ЦК Болгарской компартии загранбюро ЦК БКП, находившемся в Москве, говорилось: «Посылаем Вам финансовый отчет за ноябрь. Организационные расходы и расходы по кампании в пользу пакта 63 тысячи левов». В донесении французской разведки сообщалось, что «толпа демонстрантов перед Народным собранием состояла из самых различных элементов, но руководство явно было единым. Создается впечатление, что в последнее время в распоряжение болгарских коммунистических руководителей были переданы огромные суммы. Чувствуется, что коммунистическая пропаганда в пользу сближения Болгарии и СССР усилилась после визита в Софию Соболева. Нет сомнения, что эта пропаганда имела успех как в городе, так и в деревне».

Затем последовала телеграмма из Москвы от Димитрова об ошибочности распространения листовок: «Распространение листовок по поводу советского предложения является огромной ошибкой. Немедленно прекратите. Вы должны только устно, через депутатов парламента и других подходящих лиц, распространять сведения об этом предложении, а не через печатные документы, и ни в коем случае от имени наших органов». Внутреннее ЦК оправдывается: «В ваших указаниях о широкой агитации за советские предложения и энергичной кампании в их поддержку не говорится, что это должно происходить только устно. Немедленно останавливаем распространение. Сообщите срочно, в чем должна выразиться кампания».

После провала миссии А. Соболева Советский Союз не оставил попыток втянуть Болгарию в свою орбиту, делал еще некоторые предложения, но безуспешно. Царь Борис дал указание подписать акт о присоединении Болгарии к Тройственному пакту, что и произошло 1 марта 1941 г.

ФИРСОВ Ф. И. Хотел бы зачитать по этому сюжету еще один документ от 3 декабря 1940 г. (ЦПА ИМЛ, ф. 495, оп. 74, ед. хр. 75, л. 6): «Товарищу Сталину... Сразу после того, как товарищ Молотов позвонил мне 28.11 вечером, я указал болгарским товарищам в Софии на их грубейшую ошибку с распространением листовок по поводу предложения Советского правительства и затребовал немедленного прекращения распространения этих листовок». В ответ ЦК Болгарской компартии сообщал: «Признаём свою ошибку. Мы думали, что делаем хорошее дело. А оказалось это, к сожалению, „медвежьей услугой“. Приняли все меры для прекращения распространения изданных листовок».

ПУШКАШ А. И., д-р ист. наук, ведущий научн. сотр. (ИСБ)

После присоединения Советским Союзом Бессарабии резко возросло напряжение в отношениях между Румынией и Венгрией. Последняя провела в июле 1940 г. частичную мобилизацию и призвала войска к границе. Германия не желала военного конфликта в регионе, поэтому ею была

предпринята серия консультативных встреч с представителями Венгрии (10 июля 1940 г.), Румынии (28 июля 1940 г.) и Болгарии (27 июля 1940 г.). Гитлер и Риббентроп настаивали на решении территориальных проблем, изменении границ между тремя государствами путем переговоров на основе территориальных уступок со стороны Румынии и последующего переселения меньшинств. Нацистские руководители недвусмысленно намекали воинственно настроенным представителям Венгрии, что их военные силы недостаточны для силового решения трансильванской проблемы, к тому же вовлечение Румынии в войну с соседями не входит в планы Германии и Италии, ибо государства «оси» заинтересованы в регулярных поставках румынской нефти. Не вызывало восторга у Гитлера, Риббентропа и Чиано, по крайней мере внешне, и предложение спорящих сторон об арбитражном решении.

ПОКИВАЙЛОВА Т. А., канд. ист. наук, ст. научн. сотр. (ИСБ)

Остановлюсь на такой совершенно у нас не изученной по ряду причин проблеме, как Трансильвания и второй Венский арбитраж. Проблема «перекроя» Трансильвании особенно остро всталась после решения вопроса о Бессарабии и Северной Буковине, хотя в течение длительного времени наши историки отрицали подобную взаимосвязь. После ультиматума Советского Союза Румынии по вопросу о Бессарабии и Северной Буковине и его принятия румынским правительством первым из дипломатов, кто посетил НКИД с поздравлениями, был венгерский посланик в Москве Криштофи. Он заявил, что у Венгрии также имеются территориальные претензии к Румынии. Однако, как писал в своем отчете беседовавший с Криштофи Деканозов, венгерский посланик не конкретизировал эти претензии. В целом, на фоне ухудшения советско-румынских отношений по восходящей линии развивались отношения между СССР и Венгрией. Складывался некий антирумынский фронт с участием Советского Союза.

На середину августа 1940 г. приходится резкое возрастание пограничных инцидентов между СССР и Румынией. Идет обмен нотами. Наиболее резкими по тону были ноты советского правительства от 17, 19 и 29 августа. Давление на Румынию оказывала и другая сторона. Еще в июле 1940 г. на совещании держав «оси» в Зальцбурге, на которое были приглашены глава правительства Румынии Джигурту и министр иностранных дел Манойлеску, перед ними ставился вопрос о том, чтобы Румыния удовлетворила территориальные требования Венгрии и Болгарии. Под давлением держав «оси» 16 августа 1940 г. в городе Турну-Северин начались переговоры между румынской и венгерской делегациями по вопросу о Трансильвании, так что возрастание напряжения на советско-румынской границе не являлось случайным. Румынская делегация предложила решить спор о Трансильвании незначительным исправлением границ в пользу Венгрии и обменом населением. Площадь уступаемой Румынией территории не превышала одной десятой территориальных претензий Венгрии. Венгерская делегация не приняла румынских предложений и выдвинула встречные требования о передаче Венгрии значительной части Трансильвании, а затем уже о последующем обмене населением. Переговоры в Турну-Северин зашли в тупик и по инициативе венгерской делегации были прерваны.

В это же время (25 августа) в немецкой печати появились сообщения о том, что державы «оси» не собираются выступать в качестве арбитров решения территориальных споров между Венгрией и Румынией. Но имеются данные, что уже 27 августа Гитлер начертил новые границы между Румынией и Венгрией. А 29 августа Деканозов вручил посланику Румынии в Москве резкую ноту протesta в связи с инцидентами на границе. Это в то время, когда в Вене заседали «арбитры» и Румынии было предъявлено ультимативное требование о передаче северной части Трансильвании Венгрии. Советская нота от 29 августа была использована и венгерской стороной и державами «оси» для нажима на Румынию. Это — с одной стороны. С другой стороны, Румыния ссылкой на эту ноту оправдывала свои уступки Венгрии.

ВОЛКОВ В. К. Это и есть пример «кухаркиной дипломатии». Нотой от 29 августа советская дипломатия в лице ее «выдающегося» представителя Деканозова не столько заявляла протест Румынии как таковой, сколько как бы выказывала свое недовольство тем, что происходит в Вене без ее участия. То есть адресат на конверте был один, фактическим адресатом являлся другой, использовала же это третья сторона в своих интересах. И в конечном счете оказалась советская сторона.

ЕРЕЩЕНКО М. Д., канд. ист. наук, ст. научн. сотр. (ИСБ)

Позвольте высказать несколько замечаний относительно того, что в июле — августе 1940 г. якобы сложился единый антирумынский фронт с участием СССР. Я не могу с этим согласиться. Данный тезис подкрепляется тем, что Советский Союз устраивал провокации на границе с Румынией и якобы угрожал ей после присоединения Бессарабии. Это, на мой взгляд, неверно. Речь шла действительно о нарушениях границы. Дело в том, что началось массовое бегство жителей Бессарабии в Румынию. А советские пограничники сдерживали это бегство как могли, открывая огонь и не стесняясь в выборе средств, например, высаживались на румынский берег Прута и оттуда возвращали беглецов. Естественно, возникали конфликты. И чем более массовым было бегство, тем жестче становились советские ноты, о которых говорилось.

Относительно того, что якобы и державы «осп» участвовали в так называемом антирумынском фронте. Мне думается, что это тоже не совсем так. По свидетельству бывшего переводчика Гитлера Пауля Шмидта, в период румыно-венгерского спора относительно Трансильвании Гитлер не был абсолютно уверен в прогерманской позиции Венгрии, из-за ее некоторого заигрывания с Советским Союзом, и в то же время абсолютно был уверен в прогерманской ориентации Румынии, особенно после присоединения к СССР Бессарабии и Северной Буковины. Первоначально Гитлер склонен был согласиться на плебисцит в целом в Трансильвании или в отдельных ее районах. Но переговоры в Турну-Северин показали, что Венгрия этим не удовлетворится и возможен даже вооруженный конфликт между Венгрией и Румынией. Такого конфликта Берлин не желал и предпочел надавить на Румынию, пообещав, что в скором времени, участвуя в войне против Союза, та получит больше. Поэтому о каком антирумынском фронте можно говорить?

Хочу обратить внимание присутствующих еще на один момент. В ночь с 23 на 24 июня 1941 г., когда румынские войска перешли Прут и уже участвовали в военных действиях, оказалось, что Румыния официально не объявила войну Советскому Союзу. Молотов вызвал румынского посла Жика Гафенку и спросил, находится ли Румыния в состоянии войны с СССР? У румынского дипломата не оказалось никаких инструкций из Бухареста на этот счет. Затем Молотов в течение примерно полутора часов рассуждал о том, зачем румынам нужны военные действия, тем более если война официально не объявлена. Может быть, не поздно повернуть оружие, ведь Москва с Бухарестом могли бы договориться? И если Румыния хочет вернуть Бессарабию, то вопрос этот не закрыт. Молотов просил Гафенку довести это до сведения румынского правительства с тем, чтобы Румыния одумалась, пока не поздно. Молотовым также было сказано, что Москва не признает Венского диктата.

СМИРНОВА Н. Д., д-р ист. наук, ведущий научн. сотр. (Ин-т всеобщей истории АН СССР)

Я хотела бы сделать несколько замечаний. Во-первых, относительно сообщения Наджафова о встрече Гитлера и Сталина. Интересно само происхождение этой дезинформации. Согласно итальянским дипломатическим документам, американское радио сообщило, что 13 октября 1939 г. якобы состоятся тайные германо-итало-советские переговоры о заключении пакта. Подобные «сведения» исходили от американской разведки.

Меня очень заинтересовали документы, зачитанные Ф. И. Фирсовым. Вот еще один момент касающийся согласия СССР с болгарскими требова-

ниями о выходе к Эгейскому морю и о приобретении ряда территорий. За месяц до этого, 22 или 23 октября 1940 г., аналогичное предложение, но уже конкретное, включавшее вступление в войну против Греции, сделала Болгария Италии. Как известно, 28 октября началась агрессия Италии против Греции. Но болгары, проконсультировавшись с немцами, тогда ответили отказом. Таким образом, советское руководство шло уже торной дорогой.

Хотела сделать замечание в отношении вновь прозвучавшего здесь определения «политика держав „оси“». Не было единого фронта держав «оси» на Балканах в тот период. Между ними существовало больше противоречий, чем единства. Поэтому нельзя говорить об «итало-германской агрессии на Балканах». Германская внешняя политика на Балканах ориентировалась не на агрессию, не на захват Балкан, а на сохранение их как мирного тыла, который бы давал сырье и ресурсы гитлеровской Германии. А вот ориентация самих балканских стран четко проявилась после визита французского министра иностранных дел Дельбоса на Балканы в декабре 1937 г. Тогда стало ясно, что Франция не станет защищать Балканы в случае агрессии. И балканские страны выработали политику «спасайся в одиночку», за счет соседей в том числе.

Во всех сегодняшних построениях о политике Советского Союза, политике Германии совершенно исключается тот факт, что в это время шла война, в том числе и на Балканах. Мы же часто рассуждаем так, будто идут какие-то дипломатические комбинации мирного времени. А война уже расставила и изменила очень многие акценты в политике заинтересованных держав в этом регионе. И не надо забывать, что уже невозможны были простые дипломатические переговоры и следовало исходить из совершенно иной обстановки.

ГИБИАНСКИЙ Л. Я., зав. сектором (ИСБ)

После разгрома Франции Балканы окончательно стали неким магнитным полем между двумя полюсами. Два полюса, оказывающие прямое воздействие на балкано-дунайский регион,— это СССР с востока и Германия с запада. Все движение происходило между ними, плюс достаточно хаотичное движение внутри, по принципу «спасайся, кто может и как может». Но определяющими все-таки были советско-германские отношения.

А вот как они определяли и организовывали процесс взаимоотношений на Балканах, и есть, на мой взгляд, наибольшее «белое пятно». О политике Германии написано много. Что касается политики СССР, то здесь все остается на уровне предположений из-за отсутствия ключевых архивных материалов. Поэтому главным является вопрос: каков был замысел советской политики? И тут диапазон мнений огромен — от традиционного взгляда о стратегии, к которой мощное государство стремится всеми доступными средствами, до противоположного взгляда, согласно которому вообще никакой стратегии не было. По-моему, изначально стратегия была, но с определенного момента, а именно крушения Франции, все пошло на самотек, потому что изначальные замыслы рухнули.

Мне кажется, что общее направление советской политики в регионе ЦЮВЕ было определено на рубеже августа — сентября 1939 г. Тогда уже были сформулированы ее основные цели. Применительно к странам Центральной Европы, народам Прибалтики — все, что можно, взять! А для Юго-Востока Европы, за исключением претензий на Бессарабию и Северную Буковину, с начала второй мировой войны просматривается явное стремление достичь двух целей: с одной стороны, не допустить установления там германского контроля, а с другой — не допустить «империалистического вмешательства» Англии и Франции, «вовлечения» стран субрегиона в войну. Эти две цели просматриваются во всей политике, причем четче не по линии НКИД, а по линии «коминтерновско-партийной». Есть и третий план, о котором говорил В. К. Волков, — политика тайных служб, известная нам мало.

Итак, на мой взгляд, в советской внешней политике был стратегический замысел, но были и зигзаги, ее несло по течению, но ведь шла война

в Европе, была полная непредсказуемость международной ситуации и как результат — политика лавирования, прагматическое приспособливание к каждому дню и, конечно, то, что В. К. Волков называл «кухаркиной дипломатией». И все-таки, мне кажется, есть некое генеральное, организующее начало в советских действиях — это попытка осуществить две вышеуказанные цели, но совмещенные с третьей, важнейшей, целью — сохранением советско-германского альянса врагов. Именно врагов, каждый из которых сознавал, что цели другого для него крайне опасны. Но это альянс особого рода. И все происходившее в дальнейшем, в том числе и в ЦЮВЕ, во многом обусловлено как раз тем, что третья цель, поставленная советской политикой, изначально являлась неосуществимой, ибо невозможно было совместить противодействие Германии с противодействием западным державам при сохранении советско-германского союза. Какая-то из сторон этого треугольника должна была быть ликвидирована для того, чтобы данная политика, хотя бы теоретически, стала на реальную основу. В результате, мне кажется, советское руководство, в сущности, само запрограммировало отдачу балкано-дунайского региона под германский контроль, хотя стремилось к прямо противоположному. А дальше происходит совершенно невероятная вещь для великой державы. Я не знаю, много ли найдется в истории примеров такого рода, когда мировая держава все время находится в роли человека, догоняющего поезд. Причем весь мир видит эти позорные сообщения ТАСС по поводу привязывания Румынии, Венгрии, Болгарии осенью 1940 — весной 1941 г. к гитлеровскому блоку. Все в догонку: «Неправда, с нами не советовались», «неправда, мы этого не одобляем». То есть все уходит, все обгоняет нас, а мы бежим вприпрыжку. Советское руководство вертелось в этом хаосе и никак не могло из него выбраться.

А какова политика малых государств региона ЦЮВЕ? До сих пор мы ее изображали по упрощенной схеме — реакционные режимы вели антититлеровскую политику и тяготели к сговору с Германией. Все это имело место, режимы были либо консервативные, либо реакционные или, как мы говорим, «фашистские», их правящие круги симпатизировали фашистскому блоку и тянули в его сторону. И тем не менее это, скорее, броуновское движение, качающийся маятник. Все искали: кого бы найти в качестве патрона, на которого можно опереться. Политика сохранения альянса с Германией лишала советское руководство возможности стать таким патроном. Англия же не могла им быть, к тому же ей дружно препятствовали и Берлин и Москва. И реальный патрон для стран региона оставался только один — Германия. Естественно, что она в итоге и устанавливала здесь свой контроль.

Все сказанное продолжается до начала марта 1941 г., когда неподчиненным Германии остается лишь южный и юго-западный, отдаленный от СССР балканский фланг — Югославия и Греция. И тут возникает совершенно новая ситуация, связанная с Югославией. Советское руководство предпринимает попытку построить несколько иную политику, которую тут же, кстати, проваливает. После этого начинается «ожидание захлопывания клетки», которое происходит 22 июня 1941 г. И уже не руководство, не правительство, а народ нашей страны ценой большой крови вынужден был отстаивать свою независимость.

ВОЛКОВ В. К. Л. Я. Гибианский поставил вопрос правильно: рамки советской политики были заданы соглашением с Германией 1939 г. И если СССР руководствовался этими рамками и собирался ограничиться «мирными» средствами, не прибегая к войне, то Германия уже вышла за них где-то с августа 1940 г., а окончательно — с декабря. Ситуация складывалась довольно странная и для большой политики не характерная. Но тем не менее, на мой взгляд, в тот момент трудно было придумать какую-либо другую политику, кроме как готовиться к войне.

Повороты в политике СССР происходят даже в этот краткий период, с осени 1940 г. до лета 1941 г. До декабря 1940 г. предпринимаются попытки найти свое место в совершенно новых внешнеполитических усло-

виях путем блокировки с Германией. Однако уже в декабре в Москве начинают понимать, что это невозможно. И с декабря 1940 г. берет начало совершенно новая линия, которая четко просматривается в действиях Коминтерна. Почти одновременно резкий поворот делают пять компартий: болгарская, югославская, греческая, турецкая и румынская. Они выступают с заявлениями, что надо противостоять попыткам втягивания Балкан в войну, а главный враг все-таки не Великобритания, а Германия. Поворот был определен не самими этими партиями, а Коминтерном, за которым стоял Сталин.

Второй момент — это массовая переброска войск Германии на Балканы. Она началась примерно с конца декабря 1940 г., а широко развернулась с 5—6 января 1941 г. По донесениям югославской разведки, с 6—7 января по 18—20 эшелонов ежесуточно проходило через территорию Венгрии в Румынию. Там создался гигантский ударный кулак в 400—500 тыс. солдат. Затем начинается давление на Болгарию с тем, чтобы она не принимала предложения СССР. Тогда подключается советская дипломатия. Она протестует против вступления германских войск в Румынию, а после 1 марта 1941 г. и в Болгарию. Начинается советско-турецкая дипломатическая «игра». В конце марта 1941 г. происходит обмен декларациями о том, что СССР полностью признает советско-турецкий пакт о ненападении от 1925 г. и если Турция подвергнется нападению, то она может рассчитывать на благожелательный нейтралитет и поддержку СССР. Анкара благодарит и заявляет, что в случае, если СССР окажется в подобном же положении, то также может рассчитывать на полное понимание и нейтралитет Турции. Совершенно очевидно, что здесь, как говорится, негласно присутствующим был призрак «Барбароссы», который «бродил по Европе» в тот момент.

Мне кажется, что март — начало апреля 1941 г. — это апогей дуэли двух диктаторов. Но дело заключается в том, что Сталин не хотел выходить за рамки соглашения 1939 г., а Гитлер его уже давно выбросил в корзину.

РЕШЕТНИКОВА О. Н., канд. ист. наук, научн. сотр. (Ин-т истории СССР АН СССР)

Остановлюсь на вопросе о советско-югославском договоре от 5 апреля 1941 г. В историографии нет единой оценки этого документа, как нет единства и в трактовке обстоятельств заключения договора и даже самой процедуры его подписания. Советская историография стремится спроектировать открытую антигерманскую, антифашистскую линию, которая возобладала после 22 июня 1941 г., на предшествующий период. Не случайно поэтому возникла версия о том, что СССР принадлежала инициатива заключения договора как проявление добной воли в оказании помощи Югославии. Недавно ставшие доступными документы позволяют сделать вывод о том, что инициатива, однако, принадлежала не советской, а югославской стороне. Причем правительство Симовича предлагало советскому руководству заключить не договор о дружбе, а полномасштабный военно-политический союз.

Поворот внешнеполитического курса Белграда не был неожиданностью для советского руководства. Советские дипломаты предполагали, что в критический момент югославское правительство может сделать шаг в сторону СССР, но объясняли это... эффектным ходом английской дипломатии. Линию СССР выразил в своем обзоре поверенный в делах Лебедев: «Успех действий Советского Союза, заинтересованного в сохранении мира в этом регионе, предполагает активную борьбу Югославии как против английских, так и против германских стремлений перебросить сюда свои войска». Практически во всех документах врагом номер один выступала Великобритания и лишь на втором месте — Германия.

Советское руководство не доверяло югославскому правительству. С одной стороны, югославы утверждали, что решили обратиться к Советскому Союзу, несмотря на то, что Англия обещает им полную поддержку, но они ее не хотят, так как это означает войну. С другой стороны, сообщали со-

ветскому руководству, что по данным их разведки Германия планирует в мае нападение на СССР. В таком случае оба варианта грозили войной, так почему Белград выбирает СССР, задавались вопросом в Москве. Но тем не менее советское правительство решило оказать Югославии поддержку. Определяя же ее форму, советское руководство, как мне представляется, исходило из ошибочного прогноза развития войны и переоценивало заинтересованность Германии в сохранении дружественных отношений с СССР. Более того, как известно, в беседе с Молотовым германский посол Шуленбург откровенно заявил, что такой шаг советского правительства вызовет непонимание в Берлине. Молотов ответил, что советское правительство обдумало свой шаг и приняло окончательное решение. В литературе это обычно трактуется как доказательство твердого и последовательного курса советского руководства, которое стремилось оказать помощь потенциальной жертве фашистской угрозы. В действительности же, как мне представляется, советское правительство по-прежнему опасалось спровоцировать нападение Германии, но оно не случайно пошло на переговоры с Югославией, убедившись, что югославское правительство не денонсировало участие страны в Тройственном пакте и отказалось принять помощь Англии. Позицию Молотова можно объяснить уверенностью советского руководства в том, что ради сохранения дружбы с СССР Гитлер если и не пойдет на уступки, то хотя бы учтет мнение советского руководства в этом вопросе.

Я не буду подробно останавливаться на самой процедуре заключения договора, хотя здесь тоже есть интересный момент. В исторической литературе прочно утвердилась записанная со слов М. Гавриловича, руководителя югославской делегации, версия о его категорическом отказе подписать договор в советской редакции, которая содержала обязательства второй договаривающейся стороны сохранять нейтралитет в отношении жертвы агрессии. Упорное несогласие Гавриловича якобы заставило Сталина пойти на уступки и изменить формулировку статьи.

Существует документ, до сих пор неопубликованный и хранящийся в Архиве внешней политики СССР. Это отчет Новикова о переговорах, где однозначно говорится, что Гаврилович дал согласие на подписание договора в советской редакции, но, приехав в Кремль, был уведомлен, что советское руководство все-таки пошло навстречу и решило изменить спорную формулировку.

В советской историографии утверждалась однозначная оценка, согласно которой договор между СССР и Югославией был крупным международным актом, имевшим исторические последствия. На мой взгляд, оценка эта не соответствует действительности. Дальше ведь идет продолжение «кухаркиной дипломатии». 8 мая Вышинский заявил югославскому представителю Гавриловичу о том, что советское правительство не видит оснований для продолжения деятельности югославской миссии в Москве. А ведь в подобных условиях в годы первой мировой войны и царское, и Временное и большевистское правительства поддерживали отношения с правительством Сербии. А весной 1941 г. договор подписывают и в трагической для Югославии ситуации от него тут же отказываются!

ГИБИАНСКИЙ Л. Я. Традиционно считается, что переворот в Белграде 27 марта 1941 г.—дело рук пробритански настроенных офицеров. Это упрощенный взгляд. Все, что тогда произошло, это прежде всего следствие тех сложных процессов в правительственныех, военных, партийно-политических кругах Югославии, которые увидели, что выбор политической ориентации стал крайне ограничен: либо с немцами, либо против. О принце-регенте Павле, т. е. реальном правителе Югославии, у нас обычно писали как о реакционере, склонном к прогерманскому курсу. Нет смысла сейчас говорить о том, каковы были его социальные и политические симпатии и антипатии, но ясно, что он являлся скорее англофилом, нежели сторонником союза с Германией. После переговоров с Гитлером принца-регента Павла в марте 1941 г. обстановка складывалась таким образом, что, по оценкам в Белграде, Югославии некуда было деваться. От-

сюда — присоединение к Тройственному пакту. И как раз в этот момент выступила антигермански настроенная группа. Преобладали в ней военные, связанные с британскими службами. Но в заговоре участвовала и рукофильская группа, ориентированная на традиционную сербскую политику. В сущности, это был сербский военный переворот. Сколько тесно часть его участников была связана с советской стороной? Для полного ответа нужны документы советской военной разведки и разведки НКГБ. Очевидно, связанные с СССР группы, в том числе офицеров-заговорщиков, имели контакты и вели переговоры с советской стороной уже до марта 1941 г. Об этом свидетельствует опубликованная в «Вестнике МИД» (1989, № 15, с. 57) телеграмма поверенного в делах в Югославии Лебедева от 1 марта. В ней говорится, что прибывший в Москву Б. Симич имеет секретные полномочия для переговоров с советским правительством. Симича традиционно считают человеком, связанным с М. Голубичем, который в югославской историографии фигурирует, хотя и без конкретных доказательств, как резидент советской разведки на Балканах.

На что рассчитывали советские лидеры, используя связи среди заговорщиков? Логика должна была подсказывать советскому руководству, если оно мыслило в реальных рамках, что следует помочь созданию на южной и юго-западной оконечности Балкан антигерманского фронта. Ведь основной интерес СССР состоял в том, чтобы оттянуть момент нападения на него Германии. А этого можно было достичь только посредством военного конфликта на Балканах при британской поддержке. Великобритания, в свою очередь, рассчитывала, что удастся изменить позицию СССР. По логике вещей, в новой обстановке должны были совпадать интересы этих двух держав. Понимали ли это в Москве? Мы не знаем.

Какую все-таки цель преследовала Москва, участвуя в перевороте в Югославии? Ведь было ясно, что это переворот антигерманский, при том произошедший уже после присоединения Югославии к Тройственному пакту. Между прочим, еще 22 марта югославский посланник в Москве Гаврилович, будучи противником вступления его страны в Тройственный пакт, просил Вышинского, чтобы советское правительство оказалось давление на правительство Югославии. Вечером того же дня Вышинский пригласил Гаврилова и сказал, что, по сведениям советской стороны, вопрос о присоединении Югославии к пакту уже решен и что югославское правительство и раньше стояло за присоединение к «оси». Поэтому проблема, поставленная Гавриловичем сегодня, является беспредметной. И одновременно, в тот же день, по каналам Коминтерна в адрес КПЮ поступила телеграмма, которая требовала от коммунистов развернуть массовые народные действия против присоединения Югославии к пакту. Стало быть, Гавриловичу отвечали одно, а на самом деле предпринимали все же попытку вовлечения Югославии в противостояние Германии.

Дальше происходит то, о чем сегодня уже говорилось. Прежде мы утверждали, что предложение о заключении договора с Югославией исходило от СССР. Из документов же, опубликованных в 1989 г., следует, что это была югославская инициатива: 30 марта 1941 г. военный министр Югославии генерал Б. Илич в беседе с советским поверенным в делах Лебедевым, военным атташе Самохиным и советником Солодом выдвинул от имени нового премьера генерала Д. Симовича предложение о заключении военно-политического пакта. Но еще 29 марта Тито получил от Коминтерна депешу, в которой говорилось о необходимости прекратить уличные демонстрации. Выходит, 29 марта, за день до обращения Илича, в Москве уже знали, что с правительством Симовича будут вестись переговоры. Чья же инициатива была реальной?

В ходе переговоров советское правительство настаивает на том, чтобы был заключен договор о дружбе и нейтралитете. Югославов нейтралитет не устраивает. Но в конце концов их заставили согласиться с такой формулировкой. Тем большим было изумление югославских дипломатов, когда в ночь с 5 на 6 апреля их вновь собрали в Кремле и Сталин и Молотов вдруг объявили, что согласны изменить вторую статью и название договора. Договор будет называться «О дружбе и ненападении», а во второй статье

будет сказано, что каждая из сторон в случае нападения третьей стороны придерживается политики дружественных отношений. Самое поразительное то, что все это последовало после того, как 4 апреля Молотов сообщил германскому послу Шулленбургу о предстоящем заключении такого договора; Шулленбург решительно возражал и дал понять, что Германия будет рассматривать данные действия как враждебные. Тем не менее Молотов подтвердил советскую позицию. Создается странная картина. Советское руководство вопреки немецким предостережениям решает вдруг заключить договор на порядок выше, чем оно предлагало первоначально, проявляя при этом поразительную торопливость. Ведь уже было известно, что существует угроза германского нападения на Югославию. Договор был подписан и буквально через несколько часов последовало германское нападение на Югославию. Этим, попросту говоря, великой мировой державе «дали по морде». И тем не менее подписание этого договора со стороны СССР не было просто жестом, потому что, согласно донесениям Гаврилова, Сталин дал поручение Генеральному штабу в ответ на просьбу югославской стороны в срочном порядке заключить соответствующую договоренность о поставках оружия. Причем цифры планировавшихся поставок внушительны. Известно также, что была дана команда об отгрузке этих военных материалов через Одессу.

И вдруг снова резкий поворот, знаменитая сцена 13 апреля на московском вокзале, когда при проводах министра иностранных дел Японии Сталин демонстративно подошел не только к германскому послу, но и к военному атташе, сильно тряс им руки и чуть ли не обнимался. И упорно, так, чтобы слышали окружающие, громко говорил: «Мы должны остаться друзьями». Между тем накануне посланник Венгрии в Москве Й. Криштофи посетил Вышинского и сделал ему заявление о мотивах, по которым венгерское правительство ввело свои войска на территорию Югославии, т. е. присоединилось к агрессии против этой страны. И что же ответил Вышинский? «Если это заявление делается для того, чтобы советское правительство высказало свое мнение, то я должен заявить, что советское правительство не может одобрить подобный шаг Венгрии. На советское правительство производит особенно плохое впечатление то обстоятельство, что Венгрия начала войну против Югославии всего через 4 месяца после того, как она заключила с ней пакт о вечной дружбе. Нетрудно понять, в каком положении оказалась бы Венгрия, если бы она сама попала в беду и ее стали бы рвать на части, так как известно, что в Венгрии также имеются национальные меньшинства» (имелось в виду заявление венгерского посланника, что Югославия не существует с 10 апреля, т. е. с момента провозглашения в Загребе «Независимого государства Хорватия»). Более того, заявление Вышинского 13 апреля, т. е. в день сцены на вокзале, появилось в советской прессе и было передано ТАСС.

ВОЛКОВ В. К. Козьма Прутков говорил так: «Начальство достигает своих целей путем принятия мер внешне как бы противоположных».

ГИБИАНСКИЙ Л. Я. Германия советского демарша всерьез не приняла. Ответ Риббентропа на запрос венгерского правительства был пренебрежительным: на советское заявление нужно реагировать только путем комментария в печати.

Мне кажется, что вся «югославская история», была, возможно, попыткой использовать новую ситуацию, возникшую после 27 марта 1941 г. Провал этого шага показал Сталину полную бесперспективность положения. Дальше, мне кажется, вся его политика являлась, в сущности, политикой колапса.

ПОП И. И., д-р ист. наук, ведущий научн. сотр. (ИСБ)

Я буду говорить о самом, может быть, незначительном субъекте международных отношений этого периода — о Словакии. Реконструкция внешней политики Словакии того периода до сих пор была сильно затруднена. «Власть предержащими» позволено было прослеживать только сло-

вацко-венгерские и словацко-немецкие отношения. На все остальные, особенно отношения словацко-советские, налагалось табу, хотя в Братиславе имелось для того времени гигантское посольство СССР, насчитывавшее свыше 100 сотрудников (конечно, не только НКИД, но и других учреждений). Мы ничего не знаем о деятельности советского посольства в Братиславе. Обычно упоминается только сам факт установления дипломатических отношений между СССР и Словакией, и то с объяснением, что в этом проявилась позитивная роль СССР в ЦЮВЕ, позволявшая чуть ли не удерживать страны региона в каком-то «противостоянии гитлеровской Германии», что, конечно, не соответствует действительности.

Атмосфера в Словацком государстве летом 1940 г. в целом была весьма напряженная. Братиславский режим существовал уже более года, и благодаря поддержке Германии (а вернее, ее патронату) ему удалось утвердиться на международной арене. Но чувство временности положения не проходило. Основная опасность при этом виделась в политике Венгрии. Беспокойство Братиславы вызывала активизация венгерских дипломатов в Берлине, всячески стремившихся устраниć недоверие и охлаждение к Венгрии нацистского руководства, возникшие в сентябре 1939 г. в связи с польской кампанией. Источником нестабильности в Центральной Европе хортистские дипломаты считали Словакию. Словацкие дипломаты не оставались в долгу, и, в свою очередь, заявляли в Берлине, что внешняя политика Венгрии находится в полной зависимости от ... Советского Союза.

С установлением новой советской границы в Карпатах Венгрия охотно пошла на переговоры со Словакией о развитии тесных экономических отношений и вела их в дружественном тоне. Но как только СССР потерпел неудачу в войне с Финляндией, позиция Венгрии резко изменилась. Из Будапешта распространяются слухи о контактах братиславского правительства с чехословацкой эмиграцией в Лондоне, происходят инциденты на словацко-венгерской границе. Напряжение в отношениях между Словакией и Венгрией летом 1940 г. достигло такого уровня, что обе стороны объявили частичную мобилизацию. Новые слухи и комбинации в Братиславе породило присоединение к СССР Бессарабии и Северной Буковины: распространяются «сообщения», согласно которым на очереди присоединение к СССР Закарпатской Украины, а затем, возможно, и Словакии. В полицейском сообщении об этом говорилось: «Вопрос этот широко обсуждается и можно без преувеличения сказать, что среди молодежи и особенно в рядах интеллигенции найдется очень много сторонников этой идеи, имеющей свои корни в идеях славянской взаимности». О подобных настроениях в Словакии было, конечно, известно в Берлине, ведь словацкая партия немецкого меньшинства под руководством Ф. Кармазина выступала в роли коллективного доносчика.

Нацистское руководство беспокоила также конкурентная борьба в братиславских верхах и независимая политика министра иностранных дел Словакии Ф. Дюрчанского. Подливали масла в огонь венгерские дипломаты, «обнаруживавшие» в Словакии панславистские настроения, заигрывание Тисо с Москвой (в связи с поездкой нескольких делегатов в Москву на переговоры об экономических отношениях). В Братиславе шла борьба между сторонниками президента И. Тисо, так называемыми «борцами за народную Словакию», и сторонниками главы правительства В. Туки и руководителя полу военных формирований «Гвардии Глинки» (организации типа СД) А. Маха, «борцами за национально-социалистскую Словакию». Ф. Дюрчанский, как католический деятель, опирался на поддержку папы Римского и поэтому позволял себе вести относительно независимую политику, чем вызывал раздражение в Берлине. Фактически Тука и Мах готовили с помощью немецкой агентуры, притом агентуры по линии СС, путь «Гвардии Глинки» против Тисо под лозунгом абсолютной ориентации на Германию в сфере внешней и внутренней политики.

Президент Тисо во внутренней политике, несмотря на всю сервильность в отношении Берлина, стремился все-таки учитывать специфику Словакии и свое положение католического священника. Это, в частности,

касалось еврейского вопроса, что для Туки и Маха было удобным поводом для обвинений Тисо в нелояльности по отношению к Германии. Тайной для Тисо готовившийся путч не был. Он решил упредить путчистов и 21 мая 1940 г. объявил об отставке Маха с поста руководителя «Гвардии Глинки», а вместе с ним отстранил и других радикалов этого словацкого прообраза СД. Такая «самостоятельность» словацкого президента вызвала резкое недовольство в Берлине. Руководитель политического отдела МИД Германии Вёрман пишет записку Риббентропу о необходимости срочного вмешательства с целями: вернуть А. Маха и сделать его министром внутренних дел, притом руками Тисо; окончательно отстранить Дюрчанского, а портфель министра иностранных дел передать главе правительства В. Туке; убрать с политической арены Словакии всех ненадежных или враждебных Германии лиц. Вёрман рекомендовал также официально заявить, что Германия твердо придерживается принципов «договора об охране» и все слухи о возможной оккупации Словакии Венгрией или разделе ее между Германией и Венгрией беспочвенны.

28 июня 1940 г. Тисо, Тука, Мах и Дюрчанский были приглашены для беседы с фюрером в Оберзальцберг. От Тисо потребовали, чтобы он немедленно убрал Дюрчанского, передал портфель министра иностранных дел Туке, а портфель министра внутренних дел Маху. Для того, чтобы подсластить горькую пилию, Гитлер обещал Тисо твердую поддержку в защите целостности Словакии, перечеркнув тем самым все надежды Будапешта на оккупацию или раздел «Верхней Земли», как называли в Будапеште Словакию. Тисо безоговорочно согласился с предложенным ему включением Словакии в единое экономическое пространство, организованное Германией. В связи с этим Гитлер подчеркнул, что не допустит проникновения за Карпаты другой великой державы, имея в виду СССР. Переговоры и их результаты полностью разрушили с такими усилиями создававшуюся словацким режимом иллюзию суверенного Словацкого государства.

После «разрешения» внутренних споров с помощью Германии братиславский триумвират (Тисо — Тука — Мах) вновь обращает взоры на юг, в сторону Венгрии. Но свою ревизионистскую политику Тисо стремился всячески камуфлировать, опасаясь очередного окрика из Берлина, ибо на все намеки представителей словацкого режима о возможности ревизии Венского арбитража Риббентроп отвечал однозначно: «Не время, к этому вернемся после войны».

Летом 1940 г. «гардисты», подчиненные Маха, распространяли в Словакии листовки, в которых развивалась идея о наличии у них союзников в Венгрии в лице Салаши и его «Скрепленных стрел», которые, по их мнению, не поддерживают феодальную идею Великой Венгрии. Тем большим было их разочарование, когда Салаш, вернувшись на венгерскую политическую арену с помощью Берлина, сразу выступил с идеей «Великой Родины» («Пакс Хунгарика») в карпато-дунайском регионе. По мнению Салаша, «Пакс Хунгарика» должен «заполнить» пространство между германской Северной и итальянской Южной Европой. Другим в этом регионе места не находилось. После второго Венского арбитража отношения между Словакией и Венгрией на некоторое время стабилизировались: Словакия обретает свое место в нацистской концепции «большого пространства», Венгрии же потребовалось некоторое время, чтобы «переварить» Северную Трансильванию.

24 ноября 1940 г. Словакия присоединилась к Тройственному пакту. В дальнейшем в связи с разработкой плана «Барбаросса» она рассматривается как стратегическое пространство вермахта. Однако и «гардисты» и нацистские агенты не унимаются и еще в начале 1941 г. готовят очередной путч против Тисо. Но Тисо больше устраивал Гитлера, несмотря на свою сдержанную политику, особенно в еврейском вопросе и по проблеме аризации. Гитлер, поддерживая Тисо, конечно, держал в запасе и того же Туку как противовес Тисо. Однако планы путча были перечеркнуты позицией фюрера, хотя с путчистами ничего не случилось и Мах продолжал в дальнейшем свою деятельность в роли министра.

МАРЬИНА В. В., д-р ист. наук, зав. сектором (ИСБ)

В продолжение тех соображений, которые я высказывала на двух предыдущих «круглых столах», хотела бы очень коротко проанализировать советско-чехословацкие отношения.

Советско-чехословацкие отношения до сих пор рассматривались лишь как попытка Советского Союза воспрепятствовать безраздельному утверждению влияния Германии в Словакии, что не охватывает всей полноты событий. Инициатива в установлении этих отношений исходила от Советского Союза. Официальным представителем Словакии в Москве стал брат президента И. Тисо — Ф. Тисо, экономист по образованию. Это вызвало предположение о возможном установлении экономических отношений между двумя государствами. Переговоры на этот счет шли в течение всего 1940 г., но очень вяло. Только в декабре 1940 г. был заключен советско-чехословацкий договор о торговле и судоходстве. Но этот договор, вступивший в силу в начале 1941 г., так и не был реализован: с конца сентября 1940 г. словацкое представительство в Москве начало уже свертывать свою деятельность.

Развивались экономические отношения СССР с протекторатом в рамках договоренностей с Германией. При этом учитывались принципы торгового договора, заключенного СССР с Чехословакией в 1935 г. Существовали довольно обширные контакты советских представителей с чехословацкой эмиграцией. Малоизвестную страницу представляет сотрудничество чехословацкой и советской разведок. Падение Франции стало заметной вехой в советско-чехословацких отношениях. С лета 1940 г. вновь возрастают русофильские симпатии чешской общественности. Все это происходило при полной изоляции коммунистов, безоговорочно следовавших инструкциям Коминтерна и поддерживавших все «миролюбивые» инициативы Берлина и Москвы.

Историография до последнего времени упрощенно рассматривала центральную фигуру чехословацкой эмиграции — Э. Бенеша. Именно в то время он формулирует концепцию Чехословакии как связующего звена, «моста» между Востоком и Западом. К сожалению, не по его вине она не получила тогда развития. Возврат к ней ясно прослеживается в деятельности нынешнего чехословацкого руководства. Соблюдение Э. Бенешем определенной дистанции в отношении к СССР в 1939—1940 гг. имело своей причиной политику дружбы Советского Союза с Германией. Он был реалист и неоднократно заявлял, что относится с пониманием к политике СССР, но тем не менее требовал каких-то ее моральных пределов, дальше которых, по его мнению, не следовало идти. Естественно, что чехословацкое правительство в эмиграции свою политику в отношении СССР сверяло с политикой Великобритании как главным в данный момент противником Германии. Э. Бенеш в послании на родину писал: «Мы хотим, чтобы и наше сотрудничество с Советами шло параллельно развитию сближения Советов и Англии».

Требует серьезной корректировки отношение к проблеме чехословацко-польской конфедерации, пик переговоров о которой приходится на период, о котором у нас идет речь. Документы свидетельствуют о том, что чехословацко-польская конфедерация была задумана как какой-то барьер между Германией и Россией, причем барьер и против большевизации и коммунизации Европы. Но вместе с тем Бенеш считал, что конфедерация не будет находиться в конфронтации с СССР. Спорадические контакты по линии разведок двух стран осенью 1940 г. перешли на уровень прямых переговоров на территории Турции. В этих переговорах участвовал также подполковник Л. Свобода, группа которого была интернирована в СССР после перехода с территории Польши. Он неоднократно приезжал в Стамбул для того, чтобы установить контакты между чехословацкими разведчиками и советским консульством в Стамбуле.

В апреле 1941 г. было достигнуто соглашение о том, что в Москве будет создана чехословацкая военная миссия во главе с подполковником Пикой. В СССР она прибыла в канун нападения Германии на Советский Союз.

ПАРСАДАНОВА В. С., д-р ист. наук, ведущий научн. сотр.(ИСБ)

Падение Франции изменяет климат и в советско-польских отношениях.

Лондонская эмиграция приходит к заключению, что, возможно, Польша будет союзником союзника Великобритании, т. е. Советского Союза. Концепция безопасности независимой Польши видится в Лондоне в со-лидарном союзе славянских государств, организаторов новой Европы, между Балтикой, Черным морем и Адриатикой. Этот союз должен отражать напор Германии на Восток и отделять Германию от России. Резкий поворот делает глава польского эмигрантского правительства В. Сикорский после переезда в Лондон. В беседе с Черчиллем в обмен на улучшение отношения советского правительства к польскому населению он согласился на ревизию восточных границ Польши, создание 300-тысячной польской армии на территории СССР, проход советских войск через территорию Польши и т. д. Заявление Сикорского Черчиллю привело к кризису в эмигрантском правительстве. С этого момента, 20-х чисел июня 1940 г., расходятся пути санкционных группировок, поддерживавших правительство. Выделяется центр во главе с генералом Сосниковским и сторонники Сикорского, активно шедшие на сотрудничество с СССР. Поэтому в 1941 г. потребовался только месяц на подписание договора между СССР и польским эмигрантским правительством о совместных антигерманских действиях.

О проблеме польско-чехословацкой конфедерации. Бенеш представлял себе этот союз, мне кажется, с опорой на СССР. Сикорский в принципе с ним соглашался, но подчеркивал, что к этому надо подойти с сильными козырями, нужно создать блок государств Центральной Европы. Бенеш также советовал Сикорскому во имя будущего конфедерации согласиться с границами Польши в этнических рамках. Сикорский отказался принять этот совет, не отрицая вообще возможности переговоров о границах.

С осени 1940 г. в СССР началась подготовка к созданию польской армии. Во второй половине 1940 г. в составе английского посольства в Москве находится человек, представлявший польское эмигрантское правительство, поляк по национальности. Кстати, работал там и представитель чехословацкого правительства. С начала 1941 г. активизируются контакты и полинии разведывательных служб.

ЗУЕВ Ф. Г., д-р ист. наук. ведущий научн. сотр. (ИСБ)

Поражение Франции имело тяжелые последствия для Польши. Прежде всего это был крах внешнеполитической ориентации эмигрантского правительства. Внутри правительства возник кризис, о котором говорила В. С. Парсаданова. Поражение Франции сказалось и на обстановке внутри страны: произошли спад движения Сопротивления, свертывание внутренних подпольных вооруженных сил. После капитуляции Франции главные надежды британских правящих кругов стали связываться с вовлечением в войну против Германии Советского Союза. Это обстоятельство повлияло на позиции некоторых членов польского эмигрантского правительства, и прежде всего В. Сикорского, более реалистически относившегося к СССР. Но основные заботы польского эмигрантского правительства были сосредоточены на создании польских вооруженных сил. Потери во Франции оказались невосполнены, единственным источником оставался СССР, где проживали около миллиона поляков. Терпились надежды и на интернированные польские части. С изменением внешнеполитического курса правительства Сикорского соотносятся и его планы строительства новых отношений в Центральной Европе, о которых уже говорили В. В. Марына и В. С. Парсаданова. Однако в конце 1940 г. между польским и чехословацким эмигрантскими правительствами возникли разногласия, вызванные намерением Сикорского включить в конфедерацию Литву, Латвию и Эстонию. Сикорский считал, что ход мировых событий повторит первую мировую войну, поэтому следует ориентироваться на Запад и не считать СССР серьезным фактором. Бенеш, напротив, не умаляя роль Запада, полагал, что Польша и Чехословакия должны серьезно учитывать советский фактор. Поэтому Бенеш выступил против идеи Сикорского о вовле-

чении в среднеевропейскую конфедерацию Литвы, Латвии и Эстонии. План Сикорского не получил поддержки и со стороны президента США Ф. Рузвельта и, в конце концов, оказался не реализован. Активизирует свои усилия в польско-советском сближении Великобритания. Она давала понять СССР, что будет содействовать решению проблемы границ в пользу СССР, а польскую сторону убеждала в том, что главное — это создание вооруженных сил, людские же источники для них находятся в СССР.

ГИБИАНСКИЙ Л. Я. Наша дискуссия была достаточно плодотворной. Она показала, что общие направления развития событий в ЦЮВЕ мы можем, очевидно, обрисовать. Но полная картина достижима лишь на основе серьезных исследований и необходимого минимума источников, прежде всего, из советских архивов. Политика, проводившаяся в 1939—1941 гг., до нападения Германии на СССР, сталинским руководством, явилась важнейшим международным фактором, по сути, подыгрывшим успеху экспансионистских, агрессивных действий Гитлера в Центральной и Юго-Восточной Европе. Подчинение, прямой захват «третьим райхом» балканских стран осенью 1940 — весной 1941 г., о чём шла речь сегодня, стали заключительным аккордом этого трагического процесса. Континентальная Европа оказалась в руках фашистских агрессоров. И теперь настало очередь следующей намеченной ими жертвы — Советского Союза. 22 июня 1941 г. в результате преступного гитлеровского нападения и вследствие преступной сталинской политики народы нашей страны оказались перед лицом смертельной опасности. Трагичность этой даты отчетливо ощущается и 50 лет спустя. Потребовались поистине неимоверные усилия, чтобы в последовавшей четырехлетней войне ценой гигантских жертв и страшных лишений разгромить агрессора и одержать подлинно историческую победу. Цену, как всегда, пришлось платить нашему народу. И именно он был реальным творцом победы 1945 г. Но тот же, возглавляемый Сталиным тоталитарный режим, который несет ответственность за положение, в котором оказался СССР перед лицом гитлеровской агрессии, воспользовался политическими плодами победы, добытой народом в Отечественной войне. В том числе воспользовался для осуществления сталинских гегемонистских целей в регионе ЦЮВЕ. И это тоже важная тема, требующая наших исследований.



КУЗНЕЧЕВСКИЙ В. Д.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемая редакция! В четвертом номере Вашего журнала за 1990 г. помещены материалы «круглого стола» — «СССР — Югославия. 1948 год в современном прочтении», где поднимаются вопросы, не только относящиеся к названному в заголовке конкретному историческому событию, но и затрагивающие общие проблемы теории социализма. В частности, имеется в виду выступление М. Джиласа. Высказанные им взгляды носят, как мне представляется, весьма противоречивый характер, в связи с чем показалось уместным поделиться некоторыми соображениями.

«Коммунизм,— говорит М. Джилас,— это утопия, но утопия не в смысле религиозном или гуманистическом. Это научная утопия, с научной методологией, точнее цель утопическая, а методология научная» (с. 16). Энциклопедические издания различных стран в общем однозначно трактуют понятие «утопия» как сочинение, содержащее переральные планы социальных преобразований, а «Философский энциклопедический словарь» (М., 1983, с. 710) — даже как «изображение идеального общественного строя, лишенное научного (выделено мною.— В. К.) обоснования». Выдвинув свою, новую и довольно сложную, конструкцию, Джилас избежал объяснения, каким образом возможно, чтобы методология исследования была научной, а сконструированная на основе ее применения цель — утопической. По всей видимости, эта искусственная конструкция понадобилась уважаемому автору для того, чтобы, с одной стороны, развенчать историческую значимость К. Маркса и В. И. Ленина, а с другой — тут же характеризовать их как самые крупные фигуры XIX и XX вв. Думается, что сейчас подобный паллиатив уже не может встретить понимания ни в научной среде, ни в общественном мнении.

Однако обозначенное противоречие — не главное в размышлениях известного югославского автора, на которые хотелось бы обратить внимание. Говоря о социализме, построенном в СССР и восточноевропейских странах, М. Джилас утверждает, что этот социализм «не соответствует теории Ленина». «По моему мнению,— замечает он,— это промышленно-индустриальный феодализм или нечто похожее. Нет никакой социалистической собственности. Это фикция, есть собственность, которой распоряжается в соответствии со своими интересами партийно-государственный аппарат, и в этом смысле она коллективная. Но, согласно римскому праву, собственность принадлежит тому, кто ею распоряжается. А ею распоряжается партийно-бюрократический аппарат, и следовательно она есть партийно-бюрократическая собственность» (с. 17).

Как представляется, М. Джилас допускает здесь некоторую путаницу в определении собственности, не разграничивая право владения и право

Кузнецевский Владимир Дмитриевич — канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

распоряжения (именно право), не принимая во внимание то обстоятельство, что субъект, обладающий правом владения, может наделить другого правом распоряжения принадлежащим ему имуществом, а этот другой не может отдать во владение третьему даже часть имущества, которым он распоряжается (управляет). Речь идет, разумеется, о цивилизованных странах (обществах), а не о диктаторских режимах, где власть имущий может попирать любое право и присваивать себе то, что ему не принадлежало и не принадлежит, т. е. действовать с грабительских позиций, основываясь на принципах насилия, а не принципах права.

«Все в соцстранах зависит от власти, потому что это тоталитарная власть», — говорит М. Джилас. Многое, но не все. И прежде всего это относится к собственности. Здесь видимость не совпадает с сущностью. Собственность в социалистическом обществе действительно не государственная, но и не коллективная. Она — ничья,

Исходя из того, что при определении собственности следует различать как минимум право владения и право распоряжения имуществом с вытекающими из этого отношениями, в жизни всегда должен находиться субъект собственности, ее владелец, который всегда, во всех обстоятельствах жизненно заинтересован в сохранении и приумножении своей собственности. Иное дело, что не всегда и не у всех это получается, но стремятся к этому все. Если принять, что партийно-бюрократический аппарат в «соцстранах» является (являлся) владельцем национального имущества и отдельных его компонентов, то логично предположить, что он должен печься о сохранении и приумножении принадлежащего ему имущества. Между тем опыт показывает, что именно этого не происходило и не происходит. Наоборот, идет разбазаривание имущества. Особенно ярко это проявилось в послевоенное время в разделенных странах: ФРГ — ГДР, Южная и Северная Корея, КНР — Тайвань. Собственник не может себе позволить такое разбазаривание, так как, поведи он себя подобным образом, он разорится и перестанет быть собственником. Так разбазаривать материальные (и духовные) богатства, как это делал (делает) партийно-государственный аппарат в социалистических (бывших социалистических) странах (строительство гидро- и атомных электростанций без технико-экономического обоснования и экологических расчетов, развитие тяжелой индустрии в размерах, превышающих национальные потребности в продукции этих отраслей, повороты рек, мелиорация в районах достаточного водоснабжения и т. д.), так закапывать деньги в землю может только тот, кто эти деньги не зарабатывает, кому эти богатства не принадлежат, кто хорошо знает, что пополнение потребленных и уничтоженных богатств происходит не из его собственного кармана, а приходит извне и с гарантированным постоянством.

Партгосаппарат прекрасно осознает, прежде всего, две вещи: он понимает (каждый его конкретный представитель), что его распорядительные (имуществом и всем, что с этим связано) функции связаны не с владением, а с должностным положением; он отдает себе отчет во временности своих распорядительных функций, т. е. во временности своего статусного положения. Отречение от должности означает одновременно и прекращение функций распоряжения.

Два этих фактора плюс гарантированная существующей (созданнойими же) политической системой стабильность и даже неизменность источников пополнения израсходованного имущества и создают атмосферу, в которой партгосаппарат распоряжается государственной собственностью не как своей, а как фактически ничьей.

Существует еще и известная теоретическая путаница (сознательная или нет — сейчас уже разобраться трудно). Рожденная коммунистической доктриной догма о том, что собственность в социалистическом обществе носит общенародный характер и выступает как таковая в государственной форме, внесла изрядную путаницу в теорию этого вопроса и в практические политические действия коммунистических правительств, так как лишила собственность в социалистическом обществе ее конкретных носителей. Именно эта теоретическая догма легла в основу того, что ис-

Точником пополнения этой так называемой общенародной государственной собственности стали бессубъектные, безличностные поступления от всех трудящихся. Эти поступления невозможно с кем-то или чем-то отождествить, их невозможно идентифицировать в общегосударственной казне, а значит никто и не может контролировать их использование. Собственность постоянно пополняется из фактически анонимных источников, сама как таковая становится анонимной, таким же анонимным становится характер ее использования, и в этих условиях никто, включая и сам партгосаппарат, не может контролировать эффективность ее использования.

Я бы не стал писать об этом, если бы речь шла о путанице в данном вопросе только у М. Джиласа. Путаница в сфере функций владения и функций распоряжения (могут ли быть наследованы — юридически — функции распоряжения? Очевидно — нет. А функции владения? Даже в социалистическом обществе — да) при определении собственности близка и нашим законодателям. Настойчивое проталкивание нашим законодателем арендных отношений как основных в грядущем экономическом устройстве общества, предоставление земли крестьянам с правом наследования, но без права ее продажи и т. д., — все эти концепции исходят как раз из того, что собственность наш законодатель понимает как право распоряжения, а не как право владения. Фактически принятием этих законов экономика нашей страны вновь загоняется в тот же тупик, из которого ее, казалось бы, законодатель хочет вывести. Между тем подобные законы по-прежнему лишают нашу экономику ее самодвижущей силы. Для сторонних же наблюдателей никакой тайны здесь нет. Сошлюсь лишь на один из примеров. «Spiegel» в номере от 9 июля 1990 г. поместил интервью с немецким экспертом Хорстом Зибертом, который пишет о реформах в СССР и восточноевропейских странах: «Если их (предприятия. — В. К.) децентрализуют, не передав в частные руки, менеджеры, конечно, получат возможность для принятия самостоятельных решений. Однако тем не был бы решен важнейший вопрос, как эти предприятия будут снабжаться капиталом. Эта же проблема возникает и тогда, когда предприятия передаются в собственность коллектива. Ведь коллектив не заинтересован в том, чтобы вкладывать в предприятие капитал, он, прежде всего, хочет обеспечить получение высокой заработной платы. Поэтому должна существовать возможность передавать право собственности на предприятие. Только частный собственник заинтересован в стоимости предприятия, в том, чтобы эта стоимость росла. Только таким образом создается стимул для капиталовложений».



СТАТЬИ

ГИБИАНСКИЙ Л. Я.

К ИСТОРИИ СОВЕТСКО-ЮГОСЛАВСКОГО КОНФЛИКТА 1948—1953 гг.: СЕКРЕТНАЯ СОВЕТСКО-ЮГОСЛАВО-БОЛГАРСКАЯ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ 10 ФЕВРАЛЯ 1948 ГОДА¹

Советскими документами, которые бы давали ясный ответ на вопросы, поставленные в конце предыдущей статьи, историческая наука не располагает и не известно, существуют ли вообще подобные документы в тех — заметим, наиболее важных — советских архивных фондах, которые по-прежнему остаются закрытыми. Однако в нашем распоряжении имеется целый ряд хотя и не прямых, но весьма существенных данных, имеющих немаловажное значение для выяснения подлинной советской позиции.

Прежде всего, если исходить из реалий тогдашней обстановки, логично предположить, что в советских верхах действительно могли испытывать серьезную озабоченность по поводу реакции западных держав на заявления Г. Димитрова журналистам о федерации и таможенной унии или на ввод, если бы он состоялся, югославских войск в Албанию (вопрос о болгаро-югославском заявлении, сделанном 1 августа 1947 г., актуальность к началу 1948 г., конечно, уже потерял). Особенно такую озабоченность были способны вызвать заявления Димитрова, ибо как раз буквально в те дни, когда они были распространены мировыми средствами массовой информации, министр иностранных дел Великобритании Э. Бевин 22 января 1948 г. выступил в палате общин с предложением своего правительства образовать союз западноевропейских государств. Причем в обоснование необходимости союза Бевин, в частности, подчеркивал тезис об опасности, исходящей от СССР, о создании под советской эгидой противостоящего Западу блока в Восточной Европе [1]. В этих условиях высказывания Димитрова представляли в качестве подтверждения подобных опасений, способствовали эффективности пропагандистского фона в пользу британского проекта, почти сразу поддержанного правительствами ряда стран Западной Европы. Такой оборот дела явно противоречил устремлениям советского руководства. Оно встретило идею образования западноевропейского союза резко отрицательно, что немедленно отразилось в материалах советской прессы, в том числе в комментариях «Правды» и «Известий» [2, 25 I; 3]. Как уже отмечалось в историографии, органы советской пропаганды, осуждая выдвинутый Бевином план, старались одновременно оспорить распространявшиеся на Западе оценки, согласно которым заключенные перед тем договоры между балкано-дунайскими государствами «народной демократии» представляли собой новый шаг к созданию «советского блока» на востоке Европы (например, см. [4, с. 48])². Вероятно, в рамках этих пропагандистско-политических

¹ Продолжение. Начало см. в № 3, 1991.

² Речь шла о ряде двусторонних договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанных в ноябре 1947 — январе 1948 г.: болгаро-югославском, югославо-венгерском, болгаро-албанском, югославо-румынском, болгаро-румынском, венгеро-румынском.

усилий Сталин и счел необходимым публично, путем упоминавшегося нами «разъяснения» от имени редакции «Правды», помещенного в газете 28 января, осудить высказывания Димитрова как неправильные, продемонстрировать, что идеи, выдвинутые болгарским лидером, противоречат советской точке зрения.

В данной связи весьма интересен один бывший доселе неизвестный документ, составленный через несколько дней после публикации заявления редакции «Правды» и подписанный Молотовым. Из него следует, что по тем же соображениям, опасаясь нежелательной реакции на Западе, советское руководство решило внести изменения в подготавливаемые в то время двусторонние договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это секретное сообщение министр иностранных дел СССР направил 4 февраля через советских послов в Софию и Белград Г. Димитрову и Й. Броз Тито. В нем говорилось, что «неудачное интервью» Димитрова «дало повод ко всякого рода разговорам о подготовке восточноевропейского блока с участием СССР», а потому «виду создавшегося положения в Москве пришли к выводу, что пакты взаимопомощи, которые СССР должен заключить с Румынией, Венгрией и Болгарией, должны быть направлены против возможной будущей агрессии Германии и ее возможных союзников, а не против всякого агрессора, как это Москва считала желательным до указанного интервью Димитрова» [5]. Речь, таким образом, шла о том, чтобы вернуться к формулировке, употреблявшейся в договорах СССР с Великобританией, Чехословакией, Францией, Югославией, Польшей, заключенных еще во время войны, когда Германия являлась их общим противником.

Правда, эта же формулировка — о направленности договора против агрессии со стороны Германии или объединившегося с нею государства — употреблялась и в ряде двусторонних договоров, подписанных между «народными демократиями» после окончания войны, в 1946 — начале 1947 г.: между Югославией и Польшей, Югославией и Чехословакией, Польшей и Чехословакией. Однако было очевидно, что продолжающееся упоминание Германии, уже разгромленной и оккупированной, является скорее пропагандистским использованием традиционной «шапки», под которой скрывалась уже другая, антизападная направленность пактов, связывавших между собой государства формировавшегося «соцлагеря». В некоторых договорах, заключавшихся между восточноевропейскими странами, прежняя формулировка стала существенно видоизменяться или вовсе заменяться иной. Так, в югославо-албанском договоре (июль 1946 г.) совместная защита предусматривалась против любого нападения, подобного агрессии гитлеровской Германии и фашистской Италии [6, 1946, т. I, с. 200]; в югославо-венгерском, югославо-румынском, болгаро-албанском договорах, заключенных в декабре 1947 г., в болгаро-румынском и венгеро-румынском, подписанных в январе 1948 г., речь шла о Германии или «каком-либо третьем государстве» без упоминания о том, что оно должно быть связано с Германией [6, 1947, т. II, с. 394, 409; 7, с. 103, 109—110; 2, 26 II]; в договоре между Югославией и Болгарией (ноябрь 1947 г.) говорилось просто о любом агрессоре [6, 1947, т. II, с. 374—375; 7, с. 98]. Причем и в последнем случае, когда Германия совсем не упоминалась, это было сделано с ведома советской стороны: проект югославо-болгарского договора, согласованный во время переговоров на Бледе, посыпался затем в Москву [8, 1947 god., F-IV, Str. Pov. 1685], откуда возражений по этому пункту не последовало³. Но, как вытекало

³ Советские замечания по проекту югославо-болгарского договора касались иного: в послании к Тито от 18 октября 1948 г. Молотов предложил, чтобы договор, который София и Белград намечали сделать бессрочным, был заключен на 20 лет [5], что и было внесено в окончательный текст договора [6, 1947, т. II, с. 375; 7, с. 99]. По вопросу же об обозначении агрессора югославское правительство в конце 1947 г. обратилось к советскому с запросом, не целесообразно ли договоры Югославии с СССР, Польшей и Чехословакией, заключенные в 1945—1946 гг., дополнить в том смысле, чтобы они были направлены не только против Германии и ее союзников, но и против любого треть-

из сообщения Молотова от 4 февраля, после заявлений Димитрова о Федерации и таможенной унии Москва посчитала необходимым прикрыться декларированием прежних целей противостояния потенциальной германской опасности. «В теперешней обстановке,— указывалось в сообщении,— заключение Советским Союзом пактов о взаимопомощи, направленных против любого агрессора, было бы истолковано в мировой печати как антиамериканский и антианглийский шаг со стороны СССР, что могло бы облегчить борьбу агрессивных англо-американских элементов против демократических сил США и Англии» [5].

Поэтому в советско-румынском договоре, подписанным также 4 февраля 1948 г., говорилось, что стороны «обязуются предпринимать совместно все меры, находящиеся в их распоряжении, для устранения любой угрозы повторения агрессии со стороны Германии или какого-либо другого государства, которое объединилось бы с Германией непосредственно или в какой-либо иной форме». Взаимное оказание военной помощи предусматривалось в том случае, если одна из сторон «будет вовлечена в военные действия с Германией, которая попытается бы возобновить свою агрессивную политику, или с каким-либо другим государством, которое непосредственно или в какой-либо иной форме объединилось бы с Германией в политике агрессии» [9, с. 53—54]. Сходные формулировки содержались в заключенном 18 февраля советско-венгерском договоре и в подписанным 18 марта 1948 г. договоре между СССР и Болгарией [9, с. 128, 159].⁴

Но, свидетельствуя об очевидной обеспокоенности Кремля по поводу реакции Запада на высказывания Димитрова, сообщение Молотова от 4 февраля грешило в то же время серьезной односторонностью, приписывая западные заявления относительно «подготовки восточноевропейского блока с участием СССР» исключительно выступлению болгарского лидера. На самом деле оно являлось лишь одним из элементов аргументации, которая в данной связи в те дни фигурировала в западных средствах массовой информации и официальных материалах. Не менее существенную роль играли ссылки на жесткие антизападные установки («лагерь против лагеря»), провозглашенные в документах Информационного совещания девяти компартий (сентябрь 1947 г.), на сам факт создания Информбюро, в основном (помимо компартий Франции и Италии) объединившего ВКП(б) и коммунистические партии «народных демократий». Именно об Информбюро (Коминформе, как его окрестили на Западе) говорилось в указанном смысле в выступлении Бевина 22 января. Интервью же Димитрова в нем вовсе не упоминалось. В качестве шага к созданию блока под эгидой СССР расценивалась на Западе и серия двусторонних договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, заключенных между рядом восточноевропейских стран в течение ноября 1947 — января 1948 г. Их подписание вызвало там чрезвычайно сильный негативный отклик, который Э. Кардель, выступая 8 января на заседании Президиума югославской скупщины, назвал даже «оголтелой клеветнической кампанией» [6, 1948, с. 6]. Собственно, как раз эти договоры послужили для журналистов поводом задать Димитрову на импровизированной пресс-конференции 17 января вопрос о возможности образования балканской и вообще восточноевропейской федерации, в ответ на который и последовало злополучное заявление руководителя Болгарии.

Почему же только оно выставлялось в сообщении Молотова причиной возникших сложностей? Здесь виден явный «пережим». И не трудно заметить его тенденцию: действия, предпринятые по инициативе самого советского руководства (решения Информационного совещания девяти

его государства, совершившего агрессию. С советской стороны было выражено сомнение в рациональности столь демонстративного изменения уже действовавших соглашений [8, 1947 god., F-IV, Str. Pov. 1695, 1769].

⁴ Такие же формулировки фигурировали затем и в тех договорах о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые заключались между восточноевропейскими странами в конце зимы — весной 1948 г., например, в болгаро-чехословакском, болгаро-польском [7, с. 117, 111].

компартий, создание Информбюро) или с его ведома (договоры, заключенные в ноябре 1947 — январе 1948 г.), никакому критическому упоминанию в связи с создавшейся обстановкой, даже намеку на какие-либо вызванные ими трудности не подлежали, а в качестве единственного источника осложнений указывалось лишь на действия Димитрова, предпринятые «самостоятельно», без консультации с Москвой. Подобный «пережим» выступал в сообщении Молотова как логическое обоснование практических мер, направленных на то, чтобы впредь всякая «самостоятельность» была исключена. В нем указывалось: «Вместе с тем в договоры о взаимопомощи с Румынией, Венгрией и Болгарией будет включен пункт о консультациях по всем важным международным вопросам, затрагивающим интересы обеих стран, подписавших пакт» [5].

Так, еще почти за неделю до встречи 10 февраля в Москве ее болгарские и югославские участники были уведомлены о советском требовании обязательных консультаций, которое затем было повторено уже на самой встрече. Причем с самого начала речь шла именно о требовании — в сообщении Молотова от 4 февраля о консультациях говорилось не предположительно, а как о чем-то решенном. Этот пункт был включен уже в советско-румынский договор. Его четвертая статья гласила: «Высокие Договаривающиеся Стороны будут консультироваться друг с другом по всем важным международным вопросам, затрагивающим интересы обеих стран». Та же статья была затем продублирована в советско-венгерском и советско-болгарском договорах [9, с. 54, 129, 160]. Стремление советского руководства не допустить самостоятельных действий «братьских стран» на международной арене не ограничивалось, таким образом, Болгарией и Югославией. Похоже, пункт об обязательности консультаций и был в сообщении Молотова ключевым, во всяком случае, практически куда более важным, нежели формула об агрессоре⁵. И если действительно интервью Димитрова было одной из существенных причин озабоченности в Кремле ввиду реагирования Запада, то в таком случае очевидно и другое — всячески педалируемая критика этого интервью как чуть ли ни основного, если вообще не единственного, повода для нежелательной западной реакции использовалась советской стороной в качестве главного аргумента в пользу неуклонительного согласования внешнеполитических шагов «народных демократий» с Москвой.

Пытаясь выяснить истинные мотивы, которыми руководствовались в советских верхах, выдвигая жесткие обвинения на секретной встрече в Кремле вечером 10 февраля 1948 г., следует вдуматься и в некоторые сопутствовавшие этому высказывания Сталина и Молотова на встрече.

Дело в том, что решительно отвергнув идеи Димитрова о перспективах широкой по охвату федерации и системы таможенных союзов всех или большинства восточноевропейских стран, Сталин вслед за тем высказался в пользу создания в этом регионе нескольких более мелких федеративных и таможенных объединений. Он, как записано в отчете Джиласа, «изло-

⁵ Согласно некоторым данным, вопрос относительно целесообразности формулировки о возможном агрессоре рассматривался советской стороной еще до интервью Димитрова, в связи с заключением договора между Болгарией и Румынией, который был подписан 16 января 1948 г., накануне пресс-конференции болгарского лидера. В отчете о встрече в Москве 10 февраля М. Джилас ссылается на сказанные там по этому поводу слова В. Коларова о том, что подготовленный проект болгаро-румынского договора был до его подписания послан советскому правительству, а оно отрицательно отнеслось к содержащемуся в проекте положению о направленности договора против любого агрессора и сочло необходимым, чтобы вместо этого говорилось о Германии или государстве, которое вступило с ней в союз [10, 1, 35]. Иными словами, и до заявлений Димитрова Москва уже настаивала на той самой формулировке, возвращение к которой, как утверждалось в сообщении Молотова, стало необходимым именно из-за этих заявлений. Возможно, однако, что или Джилас или Коларов, на которого он ссылался, допустили неточность. Ибо в окончательном тексте болгаро-румынского договора, который, по логике вещей, должен был соответствовать советскому указанию, говорилось не о Германии или государстве, которое вступило с ней в союз, а, как и в ряде других договоров, заключенных в конце 1947 — январе 1948 г., о Германии «или каком-либо третьем государстве» безотносительно к тому, объединилось ли оно с Германией или нет [7, с. 109—110].

жил советскую точку зрения о том, что на востоке Европы нужно образовать три федерации — польско-чехословацкую, румыно-венгерскую и югославо-болгаро-албанскую» [10, 1, 38]⁶. Относительно каких-либо сроков, касающихся первых двух федераций, Сталин ничего определенного не сказал. В качестве ближайшей задачи он выдвинул создание лишь югославо-болгаро-албанской федерации. Но начинать считал нужным с Югославии и Болгарии. В отчете Джиласа так переданы сталинские слова: «Болгария и Югославия могут, если хотят, объединиться [хоть] завтра, в этом отношении не существует никаких помех, так как Болгария теперь суверенная страна (имелось в виду, что Болгария как государство обрела все необходимые права после вступления в силу мирного договора.—Л. Г.). И далее: «Сперва нужно, чтобы объединились Югославия и Болгария, а затем чтобы к ним присоединилась Албания». Эту мысль Сталин повторил не единожды [10, 1, 38, 39]. Более того, он подчеркивал, что вопрос о болгаро-югославском объединении «созрел» и с его осуществлением «не нужно опаздывать» [10, 1, 38]. Наряду с этим кремлевский хозяин высказался в пользу экономической интеграции между Болгарией и Югославией — согласился с необходимостью образования ими таможенной унии [10, 1, 35]. Подготовка к унии была уже предусмотрена заключенным 27 ноября 1947 г. болгаро-югославским договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, так же как и согласование хозяйственных планов обеих стран [6, 1947, т. II, с. 375; 7, с. 98], против чего, судя по документам, на встрече 10 февраля никаких возражений с советской стороны не последовало.

Как видим, о каких-либо опасениях «нежелательной реакции» Запада тут не было и речи. Они, словно по мановению волшебной палочки, исчезли из сталинских выкладок. Исчезли несмотря на то, что было хорошо известно о крайне отрицательном отношении западных держав как раз к перспективе объединения Югославии и Болгарии, образования ими федерации. Выходит, когда речь шла о планах самого Сталина, аргументы о негативной западной реакции тем же Сталиным пресколько отставались в сторону...

Не менее любопытно и другое. Выступив в пользу не только экономической, но и политической интеграции Болгарии и Югославии, советское руководство заняло совершенно противоположную позицию по поводу мер хотя бы только экономической интеграции между Болгарией и Румынией (согласование хозяйственных планов и создание таможенной унии), о которых говорилось в болгаро-румынском договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 16 января 1948 г. [7, с. 110]. На встрече 10 февраля Сталин и Молотов решительно отвергли возможность реализации этих мер [10, 1, 35, 37]. Причем Молотов заявил, что осуществление экономических взаимосвязей, предусмотренных договоренностями между Софией и Бухарестом, в частности согласование хозяйственных планов, «на самом деле было бы соединением этих государств» [10, 1, 37]. Судя

⁶ То же самое зафиксировано в мемуарах Джиласа. В них, однако, добавляется, что из соединения этих сталинских слов с неясными намеками, исходившими тогда от советских дипломатов, создавалось впечатление, что советские верхи вынашивали и мысль о реорганизации СССР путем объединения Украины с Венгрией и Румынией, Белоруссии — с Польшей и Чехословакией, а РСФСР — с Югославией, Болгарией и Албанией. Но Джилас подчеркивал, что подобные представления были очень туманными и гипотетическими [11, с. 187; 12, с. 114]. Что конкретно за намеки исходили от советских дипломатов, от кого именно, кто и когда из югославского руководства делал подобного рода выводы — в мемуарах Джиласа не упоминается. В ходе бесед, которые состоялись у автора этих строк с Джиласом в 1989—1990 гг., выяснить что-либо конкретное также не удалось. Между тем в воспоминаниях Карделя вообще утверждается, что на встрече 10 февраля Сталин прямо говорил, что образование в будущем федераций в Восточной Европе должно сопровождаться объединением РСФСР с Болгарией и Югославией, Украины — с Румынией и Венгрией, Белоруссии — с Чехословакией и Польшей [13, с. 113]. Однако в отчете Джиласа о встрече, написанном по горячим следам, ни о подобном заявлении Сталина, ни вообще о каких-либо такого рода намеках с советской стороны нет и речи. Нет подобных сведений и в упоминавшейся нами телеграмме Карделя, Бакарича и Джиласа, которой они кратко информировали Белград о совещании в Кремле.

по имеющимся документам, реальное значение подобной позиции выходило за рамки вопроса только о Болгарии и Румынии. Согласно данным из отчета Джиласа и из телеграммы, которой югославская делегация информировала 11 февраля Белград о состоявшемся совещании в Кремле, категорические возражения советской стороны, касавшиеся болгаро-румынских отношений, имели также в виду сферу отношений Болгарии с Венгрией и Югославии с Румынией и Венгрией [10, 1. 35, 45—46]. Иными словами, Москва, высказавшись за югославо-болгарское объединение, стремилась вместе с тем не допустить его расширения за счет сопредельных с Югославией и Болгарией Румынии и Венгрии, т. е. была против хотя и усеченного по сравнению с общим восточноевропейским замыслом Димитрова, но все-таки довольно масштабного варианта союза в рамках балкано-дунайского региона. Казалось бы, логичным было, если бы в своих возражениях относительно мер, направленных на интеграцию Болгарии и Югославии с Румынией и Венгрией, в частности реализацию уже заключенных болгаро-румынских договоренностей, Сталин воспользовался тем же аргументом о необходимости считаться с нежелательной реакцией Запада, к которому он только что активно прибегал, доказывая невозможность восточноевропейского проекта Димитрова. Но в данном случае «вождь» этим аргументом как раз не воспользовался. В связи с возникшим обсуждением вопроса о намерениях Софии и Бухареста в отчете Джиласа зафиксировано: «Сталин категорически считает, что это неосуществимо и что Димитров быстрее бы убедился, что это бессмыслица, а вместо сотрудничества дело дошло бы до ссоры между румынами и болгарами. Поэтому во взаимных отношениях нужно ограничиться торговыми договорами» [10, 1. 37—38]. В общем понятно, почему Сталин не употребил аргумент о Западе применительно к проблеме отношений между Болгарией и Румынией — ведь в этом случае он возражал против того, за что одновременно выступал применительно к отношениям между Болгарией и Югославией.

Все эти комбинации свидетельствуют, что тезис об угрозе серьезных осложнений с западными державами использовался или, наоборот, не использовался советским руководством на встрече 10 февраля в зависимости от тех конкретных задач, которые оно ставило перед собой по каждому из поднимавшихся вопросов. Отсюда следует, что если сталинское недовольство югославами и болгарами было в немалой степени действительно обусловлено опасением нежелательной реакции Запада, то на совещании в Кремле, как и в период подготовки к нему, ссылки на западную опасность играли тем не менее, скорее, подчиненную — и в этом смысле тактическую — роль.

Наконец, обращает на себя внимание и еще один момент более общего характера. Дело в том, что обвиняя Софию и Белград в действиях, способных опасно обострить отношения с западными державами, советское руководство в своей собственной политике считало возможным прибегать к весьма рискованным шагам, грозившим далеко идущими осложнениями с Западом. Достаточно хотя бы упомянуть предпринятые всего тремя с лишним месяцами позже советские меры по ограничению доступа в западные секторы Берлина, что вылилось в печально знаменитый берлинский кризис 1948 г., чуть не поставивший мир на грань военной катастрофы. Да и буквально десять дней спустя после московской встречи в связи с разразившимся острым политическим кризисом в Чехословакии советская сторона, судя по некоторым данным, была готова не только к дипломатическому, но и к гораздо более серьезному вмешательству для обеспечения победы компартии. В разгар чехословацких событий, 21 февраля 1948 г., посол Югославии в СССР В. Попович шифротелеграммой информировал Й. Броз Тито: «Здесь считают, что положение в Чехословакии вызывает беспокойство. У них (советской стороны.— Л. Г.) нет уверенности в том, будут ли товарищи в ЧСР в состоянии успешно разрешить кризис. Поэтому в Прагу отправился Зорин (заместитель министра иностранных дел СССР.— Л. Г.). Если [его] советы не помогут, то, как можно заключить из бесед с официальными лицами, они (советское руководство.—

Л. Г.) в крайнем случае готовы предпринять и другие меры, которые обеспечат победу демократии в ЧСР» [8, 1948 god., F-IX, Str. Pov. 150].

Едва ли Сталин был столь паивен, чтобы полагать, что «другие меры» в отношении Чехословакии могут вызвать менее острую западную реакцию, чем, скажем, размещение югославской дивизии в Албании. Точно так же он уже к концу января, когда вызвал болгар и югославов в Москву, а тем более к моменту самой встречи 10 февраля не мог не знать, что Запад реагирует на заявление Димитрова о проектах федерации и таможенной унии отнюдь не более (а, возможно, даже менее) резко, чем на создание Информбюро, происшедшее четырьмя месяцами раньше исключительно по сталинской инициативе. Следовательно, тут действовал тот же принцип, который ясно проявился в сообщении Молотова от 4 февраля: когда само советское руководство, Сталин по тем или иным причинам полагали нужными шаги, связанные с риском осложнений с западными державами, это считалось в порядке вещей, криминал же усматривался лишь в том случае, если подобного характера шаги предпринимались самостоятельно лидерами других государств «лагеря». «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Таким образом, в основе «советского гнева» в конечном счете лежал именно факт принятия руководителями Югославии и Болгарии самостоятельных решений, не согласованных с Кремлем.

Видимо, эта же глубинная причина во многом обусловила и ту резкость, с которой советские хозяева на совещании, особенно сам Сталин, предъявили претензии болгарским и югославским гостям. Как свидетельствуют все названные нами источники о встрече в Кремле, обвинения с советской стороны были высказаны в жестком, проработочно-директивном тоне. Молотов, однако, насколько можно судить, не допускал таких грубых личных выпадов против представителей Болгарии и Югославии, какие позволял себе Сталин. Возможно, тут было просто распределение ролей в «сталинском театре», возможно, позволительное «великому вождю» не полагалось его «ближайшему соратнику». Наконец, нельзя исключить и того, что в этом эпизоде сказалось какое-то осложнение душевного состояния Сталина⁷. Так или иначе, но «вождь» допускал прямые грубости, что видно и по отчету Джиласа, а согласно последующим воспоминаниям как Джиласа, так и Карделя они нередко граничили с оскорблением. В особенности доставалось Димитрову. Например, за сделанные журналистам заявления Сталин не только высмеял его как человека, решившего «блеснуть новым словом», «удивить весь мир», все еще выступающего так, будто он руководитель Коминтерна, но не остановился даже перед тем, чтобы сравнить Димитрова с бабой, болтающей на улице [10, 1. 34, 35—36; 12, с. 113; 13, с. 113].

Заметим, что впоследствии в своих мемуарах и Джилас и Кардель писали о том, какое тяжелое чувство они испытывали, наблюдая грубый, оскорбительный разнос, устроенный Димитрову кремлевским властелином [12, с. 113; 13, с. 113]. Однако трудно сказать, насколько адекватно в этих позднейших оценках, сделанных уже много лет спустя после конфликта, при резко изменившемся отношении Джиласа и Карделя к Сталину, отражались те действительные мысли и чувства, которые владели ими непосредственно на встрече 10 февраля. Ведь категорическое осуждение Сталиным заявления Димитрова о будущем широком объединении стран Центральной и Юго-Восточной Европы совпадало с отрицательной реакцией, которую заявление болгарского лидера сразу же вызвало в югославских верхах. Мы уже писали, что еще 19 января, всего через день после интервью Димитрова, Тито направил находившемуся в Москве Джиласу поручение просить советскую сторону «повлиять на болгарских товарищей» по этому поводу, что несколько дней спустя Джилас и сделал в беседе

⁷ Мы уже говорили о зафиксированном в мемуарах Джиласа и Карделя крайне раздраженном состоянии Сталина на встрече 10 февраля. Джилас, а еще раньше В. Дедиер в книге о Тиге писали, что во время обсуждения вопроса о целесообразности таможенных уний, когда Кардель упомянул о существовании Бенилюкса, Сталин, споря с Кардемом, стал вопреки очевидному утверждать, будто Нидерланды не входят в Бенилюкс [12, с. 116; 14, с. 501—502]. В отчете Джиласа, хранящемся в архиве, нет упоминаний об этом эпизоде.

со Ждановым [10, 1, 15, 18]. Отрицательное отношение к заявлению Димитрова югославская сторона выражала не только в доверительных контактах Джиласа с советским руководством. Заместитель министра иностранных дел Югославии А. Беблер прямо говорил о том же в беседе с британским послом в Белграде Ч. Пиком. При этом Беблер отозвался о Димитрове с пренебрежением [4, с. 50].

Необходимо учесть и еще одно обстоятельство. Дело в том, что, когда по вызову советского правительства на советско-югославо-болгарскую встречу отправились Э. Кардель и В. Бакарич, из Белграда 4 февраля Джиласу была послана шифротелеграмма: «Эдо (Кардель.—Л. Г.) приезжает туда (в Москву.—Л. Г.) из-за дивизии и аналогичных проблем, которые относятся не столько к нам, сколько к другим. Мы знаем, что из-за аналогичных вопросов туда приедет и Джордже (Димитров.—Л. Г.)» [10, 1, 29]. Из этой шифровки, подписанной одним из трех (наряду с Кардлем и Джиласом) ближайших сподвижников Тито — А. Ранковичем, следовало, что среди причин, по которым югославов и болгар вызвали «на ковер», югославское руководство считало наиболее важной советское недовольство высказываниями Димитрова и полагало, что именно болгарский лидер станет на встрече в Москве основным объектом критики. Происхождение подобных расчетов понятно — в тот самый день, 4 февраля, в Белграде было передано из Москвы излагавшееся выше сообщение Молотова, где чуть ли не главная ответственность за сложности, возникшие на международной арене, возлагалась на Димитрова. Не случайно телеграмма за подпись Ранковича была составлена 4 февраля лишь поздно вечером, т. е. когда Тито, по всей видимости, уже смог ознакомиться с сообщением Молотова. Но если югославская сторона заранее рассчитывала, что ей «перепадет» меньше, а основной сталинский гнев выпльется на Димитрова, то ее представители на встрече вряд ли должны были быть столь уж обескуражены, когда руководитель Болгарии подвергся основному «битью».

Конечно, они могли не испытывать радости в связи с грубостью Сталина, обрушенной на Димитрова. Могли, как впоследствии писали в своих мемуарах Джилас и Кардель, даже по-человечески сочувствовать бывшему генеральному секретарю Коминтерна. Но и тут к этим поздним свидетельствам необходимо подходить достаточно осторожно. Ибо в конце своего отчета о встрече 10 февраля, написанного, в отличие от мемуаров, по горячим следам, Джилас счел нужным зафиксировать совершенно иное: «Напоминаю, что критика Сталиным Димитрова, хотя и грубая по форме, была высказана в дружеском тоне» [10, 1, 40]. Была ли эта фраза всего лишь данью тогдашним «правилам игры», обязательным довеском, призванным как-то уравновесить, подретушировать малоприличную картину, которая, хотя и с осторожностью, была нарисована в отчете? Или воспитанный в духе представлений, свойственных в то время коммунистическому движению, Джилас — и не он один — действительно воспринимал подобным образом «критику», звучавшую из сталинских уст? Вполне вероятно, что здесь соединялось и то и другое.

Однако почему на встрече 10 февраля именно Димитров оказался основным объектом сталинского «разноса», наибольших резкостей и грубостей? В отчете Джиласа никаких соображений на сей счет не содержалось. Но впоследствии он в своих мемуарах высказал мысль, что Сталин, помимая, насколько югославское руководство, в отличие от более послушного болгарского, может вести себя независимее, считал нужным сдерживаться в отношении югославских участников встречи, а потому действовал по принципу «бранил дочь — укоряет сноху», т. е. обрушиваясь на Димитрова, целил на самом деле в югославов [12, с. 112]. У нас нет данных, которые бы подтверждали или опровергали это предположение. Оно выглядит довольно логичным. Впрочем, с равным успехом логичны и иные предположения. Например, что из упомянутых выше трех случаев, фигурировавших в качестве предмета обвинения югославов и болгар на встрече 10 февраля, Stalin, очевидно, усматривал наибольшую опасность именно в высказанной Димитровым идеи объединения восточноевропейских стран

в крупную федерацию (или конфедерацию). Не исключено и другое: поскольку из двух вызванных «на ковер» в Москву «первых лиц» — Димитрова и Тито — прибыл только Димитров, на него преимущественно и вылилось недовольство «великого вождя», не видевшего смысла устраивать такую же выволочку югославам в отсутствие «главного человека» из Белграда.

Вполне вероятно и то, что само сталинское раздражение, опрокинутое на болгарских и югославских участников встречи 10 февраля, в немалой мере было связано именно с фактом неприезда югославского лидера. Как отмечалось в отчете Джиласа, когда 10 февраля югославскую делегацию известили о предстоявшем вечером заседании в Кремле, то сопровождавший делегацию сотрудник аппарата ЦК ВКП(б) В. И. Лесаков, сообщая о прибытии накануне в Москву болгарских участников, подчеркнул: «из Болгарии прибыли „главные“» [10, л. 33]. По мнению югославов, в том числе и Джиласа, Лесаков акцентировал это намеренно, поскольку Тито не приехал [12, с. 110; 14, с. 497]. Похоже, так оно и было. Правда, в телеграммах, посланных за подписью Молотова в Белград и Софию с вызовом «двух-трех ответственных представителей» югославского и болгарского правительства на совещание, не было никаких упоминаний о желательном персональном составе делегаций. Но едва ли приходится сомневаться в том, что кремлевские устроители встречи ожидали в ответ на обращение со столь высокого уровня и по столь важному делу («серьезные разногласия по внешнеполитическим вопросам») прибытия в Москву «первых лиц».

В одном из предыдущих очерков мы уже отмечали, что пока нет документальных данных о том, почему Тито не поехал на встречу. В его официозной биографии, написанной Дедиером еще в период советско-югославского конфликта, говорилось, что «ЦК КПЮ ... считал достаточным, чтобы там (т. е. в Москве.— Л. Г.) были Кардель, Джилас и Бакарич» [14, с. 497]. То же Дедиер повторил в многотомном издании биографии Тито в 80-е годы [15]. Насчет «ЦК КПЮ» Дедиер сильно преувеличил: насколько можно судить по имеющемуся материалу, кроме буквально нескольких человек из самого близкого окружения Тито никто другой вообще не знал ни о вызове в Москву, ни о поездке Карделя и Бакарича. Практически решение принимал тот же Тито, обсуждавший это, видимо, с Карделем и Ранковичем. Что же касается слов Дедиера о «достаточности» тройки Кардель, Бакарич, Джилас, то, если следовать данной версии, в югославских верхах придерживались мнения, что вызов из Москвы вовсе не содержит в себе необходимости приезда самого Тито, либо даже считали целесообразными продемонстрировать советской стороне, что не видят оснований для его приезда по такому поводу. Но никакими доказательствами Дедиер свою версию не подкреплял. Ее придерживался в своих мемуарах и Кардель, излагавший при этом более конкретные причины [13, с. 112]. Однако дававшаяся им конкретизация полна грубых фактических ошибок и потому не может приниматься как заслуживающая доверия⁸. Остается только гадать, решил ли Тито не ехать потому, что не хотел оказаться «на ковре» и быть прямой мишенью возможного разноса или просто стремился на всякий случай сохранить свободу рук. Как бы то ни было, его отсутствие на совещании на фоне присутствия Димитрова являлось особенно заметным. И вполне возможно, что Димитрову, оказавшемуся «под рукой», досталось вдвое — не только за себя самого, но и за Тито.

Впрочем, судя по источникам о встрече 10 февраля, досталось и Карделию, хотя не в такой мере, как Димитрову. В отчете Джиласа зафиксировано, что Сталин, так же, как других, постоянно перебивал Карделя, так

⁸ Кардель утверждал, будто депеша с вызовом в Москву пришла от Сталина и в ней говорилось о совещании делегаций политбюро трех компартий во главе с генеральными секретарями, чего на самом деле не было. Ошибается Кардель и говоря, будто вызов был связан только с критикой заявления Димитрова, а поскольку югославы к этому заявлению не имели отношения, то Тито и отказался сам ехать в Москву [13, с. 112]. Ведь на самом деле вызов был также продолжением телеграмм Молотова о планах ввода югославской дивизии в Албанию.

что тот, подобно Димитрову, не мог связно изложить свои соображения [10, л. 34]. Не обошлось и без довольно грубых сталинских реплик по поводу некоторых объяснений главы югославской делегации [11, с. 190; 12, с. 116; 13, с. 116].

Как реагировали болгарские и югославские участники встречи на разнос, устроенный им в Кремле?

(Продолжение следует)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Parliamentary Debates (Hansard). Fifth Series. Vol. 446. House of Commons. Official Report. London, 1948, p. 383—410.
2. Правда, 1948.
3. Известия, 1948, 31 л.
4. *Pirjevec J. Tito, Stalin in Zahod.* Ljubljana, 1987.
5. Архив внешней политики СССР.
6. Dokumenti o spoljnoj politici Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. 1946. Т. I—II. Beograd, 1985; 1947. Т. I—II. Beograd, 1986; 1948. Beograd, 1989.
7. Външна политика на Народна република България. Сборник от документи и материали. Т. I. София, 1970.
8. Arhiva Saveznog sekretarijata za inostrane poslove SFRJ (Белград), Politička arhiva.
9. Внешняя политика Советского Союза. 1948 год. Документы и материалы. Ч. I. М., 1950.
10. Arhiv Josipa Broza Tita (Белград), Kabinet Maršala Jugoslavije, I-3-b/654.
11. *Djilas M. Jahre der Macht: Kräftespiel hinter dem Eisernen Vorhang.* Memoiren 1945—1966. München, 1983.
12. *Djilas M. Razgovori sa Staljinom.* Beograd, 1990.
13. *Kardelj E. Borba za priznanje i nezavisnost nove Jugoslavije 1944—1957.* Sećanja. Beograd; Ljubljana, 1980.
14. *Дедијер В. Јосип Броз Тито: Прилози за биографију.* Београд, 1953.
15. *Dedijer V. Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita.* Т. 3. Beograd, 1984, с. 287.



ВАЛЕНТА Я.

«ДЕЛО» МАРШАЛА М. Н. ТУХАЧЕВСКОГО (к вопросу о хронологии и интерпретации)

Автор статьи не ставил целью дать исчерпывающее изложение комплексной проблемы так называемого дела Тухачевского. В его задачу не входил и всесторонний анализ более узкого аспекта данной проблемы — роли Чехословакии, чехословацкой дипломатии, а также президента Э. Бенеша в событиях весны 1937 г. Подобная полнота изложения не представляется пока возможной, если учесть степень освоения архивных материалов, а также настоятельную необходимость критической переоценки имеющейся литературы. На нынешней стадии исследований следует подвергнуть тщательнейшей проверке практически все появившиеся до настоящего времени в литературе сведения, поскольку многие из них либо исходят из ошибочных посылок, либо основываются на не вполне надежных источниках.

Нами предпринята попытка корректировки некоторых спорных выводов, касающихся чехословацкого участия в событиях, которые недавно появились в советской литературе [1]. Автор намерен также ввести в научный оборот новые свидетельства, проливающие свет на роль чехословацких политических деятелей в анализируемых событиях. Весьма важным является и уточнение некоторых вопросов хронологического характера.

Первое упоминание о «деле» советского маршала мы находим в вышедшей после войны книге Э. Бенеша «Воспоминания», изданной и в английском переводе [2]. К сожалению, содержащаяся в ней информация отличается крайней лапидарностью и скучностью. Целый ряд аспектов личной причастности к «делу» Бенеш оставляет в книге невыясненным, а приводимые им данные искажают хронологию «дела Тухачевского». По прочтении книги у читателя неизбежно должно сложиться впечатление, что между моментом получения секретной информации из Берлина (см. ниже) и ее передачей советскому полпреду в Праге прошло всего несколько дней. На самом деле речь должна идти об отрезке времени, составляющем несколько месяцев.

Можно поставить вопрос: почему Бенеш сохранил в «Воспоминаниях», вышедших в 1948 г., столь большую сдержанность по отношению к делу, которое он мог считать своей большой заслугой перед СССР и лично Сталиным? До настоящего времени историки, насколько мне известно, не задавались и другим вопросом: верил ли сам Бенеш, вплоть до момента издания своих «Воспоминаний», в правдивость тогдашней официальной советской версии о Тухачевском как изменнике? Впрочем, за это трудно было бы их упрекать, ведь будучи поставлен, данный вопрос носил бы сурово спекулятивный характер, поскольку для ответа на него в их распоряжении не имелось исчерпывающей информации. И сегодня мы не распола-

Валентина Ярослав — профессор, научный сотрудник Института Восточной Европы АН ЧСФР.

гаем достаточным количеством данных. Вместе с тем имеются свидетельства хорошо информированного участника событий, профессора Карлова университета В. Черны, которые содержатся в его воспоминаниях, опубликованных в чешском зарубежном издательстве и основанных по меньшей мере на нескольких его беседах с президентом. По словам В. Черны, Э. Бенеш в послевоенные годы по-прежнему считал, что Сталин должен быть ему благодарен за информацию о Тухачевском, переданную советской стороне в 1937 г. [3]. Сегодня в распоряжении исследователей имеется свидетельство К. Горовского, принимая во внимание которое вряд ли можно говорить о каком-либо подрыве или расшатывании веры Бенеша в официальную версию «дела Тухачевского» в годы войны [4]¹. Тем не менее представляется, что какие-то сомнения у Бенеша появились, чем и объясняется тот факт, что в «Воспоминаниях» он ограничился лишь необычно кратким упоминанием о «деле Тухачевского». В пользу этого говорит и то обстоятельство, что в январе 1944 г., когда Бенеш впервые сказал о «деле» У. Черчиллю, он, судя по военным мемуарам Черчилля, был более откровенен [5].

По целому ряду причин, и в первую очередь в связи с попыткой реконструкции всего механизма провокации, жертвой которой стали М. Н. Тухачевский и другие советские военачальники, особое значение приобретают вопросы хронологии, прежде всего проблема точного определения временных рамок всей провокации, в том числе и чехословацкого участия в ней. До настоящего времени в целом общепринятой является хронология, содержащаяся в воспоминаниях В. Шелленберга, который датирует начало «дела Тухачевского» ноябрем 1936 г.; к этому вопросу мы еще вернемся, поскольку, как нам представляется, эта хронология ошибочна. В действительности начало «дела» нужно отнести по меньшей мере к лету 1936 г.

Что касается Чехословакии, то важнейший свидетель, президент Бенеш, единственный из непосредственных участников событий, оставивший письменные показания, утверждает в «Воспоминаниях», что в середине января 1937 г. он получил из Берлина неофициальное сообщение о том, что проводившиеся с декабря 1936 г. секретные конфиденциальные переговоры между Прагой и Берлином будут приостановлены и продолжены, возможно, только позднее, поскольку «Гитлер ведет сейчас другие переговоры, которые, в случае их успеха, видимо, повлияют и на наши дела». В примечании Бенеш утверждает, что Траутмандорф (один из представителей Гитлера на переговорах с Бенешем) случайно обмолвился, что велись переговоры с советскими антисталинскими заговорщиками — маршалом Тухачевским, Рыковым и другими; Гитлер надеялся на успех этих переговоров и, следовательно, не был заинтересован в быстром завершении переговоров с Бенешем. Действительно, в случае изменений в Советском Союзе изменилось бы и положение в Европе в целом. «Сталин вовремя предотвратил это,— пишет далее Бенеш.— Я тотчас же срочно передал советскому послу Александровскому информацию, о которой узнал из Берлина из разговора Мастны — Траутмандорфа».

Следует подчеркнуть, что в «Воспоминаниях» бесспорно содержатся сведения более позднего характера, которыми Бенеш в середине января 1937 г. располагать не мог. В частном архиве посла ЧСР в Берлине В. Мастны, который доступен чешским исследователям, первая запись разговора с графом Траутмандорфом о заговоре относится к 9 февраля 1937 г., т. е. сделана почти месяцем позже даты, указываемой Бенешем. Как следует из литературы, 11 и 13 февраля 1937 г. посол Крофта совещался по этому поводу с президентом и министром иностранных дел. Можно ли считать ошибкой Бенеша то, что разговор от 13 февраля он в своей книге перенес на месяц раньше? Ни в коем случае. Если провести сравнительный анализ, то между текстом сообщения Мастны, который был опубликован также И. Пфаффом [6, № 10—12] (полный текст статьи Пфаффа см.

¹ Сведения К. Горовского основаны на устном сообщении генерала Л. Свободы, с которым он встречался после 1955 г., т. е. после своего возвращения из сталинских лагерей.

[7]), и текстом «Воспоминаний» имеется принципиальное различие: хотя у Маастны речь идет о «свержении Сталина и Литвинова» и установления военной диктатуры, он не привел ни одной фамилии! Основываясь на сохранившемся тексте конфиденциального сообщения Маастны, можно с полным правом утверждать, что вплоть до середины февраля чехословацкой дипломатии не была известна ни одна из фамилий «антисталинских заговорщиков», хотя бы и не из берлинского источника.

Имеются и другие материалы, оставшиеся вне поля зрения историков, в которых содержатся данные, касающиеся хронологии проблемы. Среди них — книга британского историка К. Маккензи «Доктор Бенеш», вышедшая на английском языке в Лондоне в 1946 г. [8] и в Праге, на чешском, в 1947. Она написана для английского читателя в стиле стандартных британских биографий политических и государственных деятелей. Книга возникла как итог многих бесед автора с Бенешем весной и летом 1944 г., т. е., по существу, воспроизводит события в интерпретации Бенеша. Следует учесть, что другие источники по «делу Тухачевского» в то время не были доступны и, следовательно, информация Бенеша не могла быть каким-либо образом дополнена. Бывший личный секретарь президента Э. Таборский сообщил мне также, что в ходе бесед велась стенографическая запись секретарем профессора Маккензи, поэтому можно предполагать точность передачи слов Бенеша. Это весьма существенное обстоятельство позволяет считать воспроизведенные в книге слова Бенеша (некоторые из них даже приведены в кавычках как дословное цитирование) полноценным дополнением его «Воспоминаний».

По словам Бенеша, приведенным в книге Маккензи, первый визит секретного эмиссара Гитлера графа Траутмансдорфа к чехословацкому послу в Берлине Маастны состоялся после Нового года, 12 января 1937 г., т. е. эта дата совпадает с приведенной в «Воспоминаниях». Работая с чешским изданием книги Маккензи, я мог допустить, что это месячное расхождение в дате первой информации могло быть вызвано невольной небрежностью переводчика, но оказалось, что и в оригинальном британском издании фигурирует январь.

Остается еще один вариант, а именно, предположение, что ошибку в датировке допустил сам Бенеш, но в этом случае ошибка носила бы слишком неправдоподобный характер (она повторена и Маккензи, и в «Воспоминаниях»). Это предположение не выдерживает критики и потому, что содержание январской беседы, как уже отмечалось, Бенеш передает совершенно по-другому по сравнению с сообщением Маастны о беседе 9 февраля 1937 г. Содержание столь различно, что можно с полной уверенностью констатировать: разговору 9 февраля предшествовал другой, состоявшийся примерно месяцем ранее. Естественно, оба эти разговора вращались вокруг главной проблемы — продолжение секретных чехословацко-германских переговоров, ведшихся с конца 1936 г. Но стенограмма беседы 9 февраля содержит такие детали и различия, которые делают невозможной подмену ее содержания каким-либо другим разговором. 9 февраля Траутмансдорф привел Маастны в числе причин затяжки переговоров недовольство Гитлера позицией Чехословакии. Имелось в виду так называемое дело Шебы, пыне забытое, но в то время наделавшее много шума. Оно являло собой типичный пример политического скандала, раздутого из ничего [9, с. 314]². Реакция Гитлера являла собой типичный пример реакции государственного деятеля, доверяющего пропагандистским дезинформациям.

² Имелась в виду книга Я. Шебы [10]. Предисловие к ней написал министр иностранных дел К. Крофта. В момент издания книги Я. Шеба был посланником в Бухаресте. Камнем преткновения и толчком к началу кампании явилась фраза, в которой констатировалось, что осуществить советскую помощь Чехословакии в соответствии с договором 1935 г. взаимопомощи было бы намного легче, если бы в силе осталась линия Керзона, тогда бы Чехословакия имела общую границу с СССР протяженностью более 200 км. Была развязана подстрекательская кампания, нацеленная против автора и Чехословакии в целом и организованная польскими дипломатами, а также румынскими реакционными кругами; раздувала кампанию и повторяла сплетни также венгерская и немецкая пропаганда.

Учитывая, что речь шла о хорошо известном современникам деле, вряд ли была возможна подмена этой аргументации иной.

Вернемся, однако, к тому, что следует из сообщения Бенеша Маккензи. Напрашивается вывод: чехословацкий президент в середине января в действительности знал о том, что позже получило название «дело Тухачевского». Бенеш рассказал своему британскому биографу, что пригласил в Град советского полпреда Александровского и заявил, что ему известно о советско-германских переговорах. Ссылаясь на советско-чехословацкий договор 1935 г., он квалифицировал эти переговоры как нелояльные действия СССР. Свое недовольство президент облек в форму вопроса поп-преду: может ли доставить удовольствие услышать о подобных закулисных переговорах? Полпред, естественно, не имел о них ни малейшего представления и просил сообщить ему подробности, но президент ответил отказом. Он лишь повторил, что ему известно с абсолютной достоверностью, что переговоры ведутся «и думаю, — добавил президент, — что их ведет ваше правительство». Бенеш не мог сообщить Александровскому требуемые подробности, поскольку они не были ему известны. Этот отрывок из книги Маккензи содержит весьма ценные сведения и, по-моему мнению, их можно считать ключом, надежным доказательством того, что разговор 9 февраля предшествовал другой.

9 февраля совершенно определенно речь шла о заговоре против Сталина и Литвинова с целью установления военного режима — это факт, который ни в коем случае не заменить предположением, будто с Берлином ведет переговоры советское правительство; здесь речь идет о совершенно ином, с точки зрения содержания, сообщении.

Для подтверждения этого факта, что *tempus a quo* первых чехословацких информаций о неких секретных контактах между Москвой и Берлином следует отнести еще к январю, точнее, к середине января 1937 г., следует обратиться еще к двум доказательствам. Советский публицист Н. Абрамов в своей статье цитирует донесение советского полпреда в Праге о беседе с Бенешем 3 июля 1937 г., в ходе которой президент сообщил ему, что «с января этого года» он получал косвенные сигналы о контактах подобного рода [1]. Вторым доказательством, советское происхождение которого представляется спорным, является предполагаемый текст резолюции политбюро ЦК ВКП(б) от 24 мая 1937 г. о «деле Тухачевского»³. В этом документе говорится о том, что с появлением какой-то туманной информации и слухов произошло заметное охлаждение в чехословацко-советских отношениях. Прага подозревала Советский Союз в ведении секретных переговоров с гитлеровской Германией, советская дипломатия квалифицировала эту инсинуацию как успешное распространение антисоветской пропаганды в чехословацких государственных сферах.

Детальное рассмотрение завершающей фазы переговоров Траутмансдорфа с послом ЧСР Мастины в начале 1937 г. по ряду аспектов представляет интерес, однако, эти события уже получили достаточно полное освещение в литературе и существа рассматриваемой нами проблемы не затрагивают. Поэтому детализировать мы их не будем.

Весьма примечательным является то, как после второй мировой войны отнесся к своей роли «невольного информатора» сам граф Макс Карл Траутмансдорф. Было бы неправомерно утверждать, что он непосредственно реагировал на американское издание «Воспоминаний» Бенеша, вышедших в 1954 г. Можно говорить лишь о хронологическом совпадении, ибо именно в это время он рассказал о своей роли в переговорах с Бенешем канадскому историку чешского происхождения Б. Целовскому, готовившему к изданию свою книгу о Мюнхене [11]. Заявление в печати, носившее слишком категоричный характер, было сделано Траутмансдорфом лишь несколько лет спустя, в 1962 г. Доклад Н. С. Хрущева на XXII съезде КПСС о кровавых чистках Сталина, как известно, носил сенсационный характер, но по существу не был слишком детальным. Поэтому редакция

³ Текст документа был опубликован только в немецкой версии в работе Пфаффа [7]; в русском переводе без какого-либо комментария этот документ был опущен. О документе более подробно см. [6, № 11].

известной консервативной газеты «Frankfurter Allgemein Zeitung» предприняла попытку создать с помощью фрагментов из воспоминаний Шелленберга, отрывков из книги Д. Бейли, заимствовавшего сведения из книги Бенеша «Воспоминания», некую целостную картину «дела Тухачевского» [12, 1961, 8 XI]. Траутмансдорф быстро и весьма энергично отреагировал на публикацию письмом в редакцию газеты [12, 1962, 15 III], которое заслуживает внимания. Напомним, что в то время граф оставался единственным живым участником вышеуказанных событий; к этому времени ушли из жизни Э. Бенеш, В. Мастны, а также А. Гаусгофер. Но Траутмансдорф оказался не в ладах с прошлым даже в мелочах, что лишь усиливает недоверие к его письму в редакцию в целом. В своем опровержении он, в частности, уверяет, что был с тогдашним чехословацким послом в Берлине хорошо знаком в течение ряда лет и часто бывал у него в гостях. Но как пишет чехословацкий историк Р. Квачек, в одном из донесений посла Мастны говорится о том, что он был представлен графу 14 июля 1936 г. на приеме во французском посольстве. Траутмансдорф отрекомендовался послу как исполнитель особых внешнеполитических задач, поставленных фюрером [9, с. 306]. В письме же в редакцию граф утверждал, что был противником национал-социалистического режима. Весьма подозрительным является и то, что Траутмансдорф отказался от личного опровержения своей роли и своей позиции в событиях (его беседы с Мастны происходили, несомненно, конфиденциально, с глазу на глаз). Для этой цели он привлек третье лицо, которое на беседах с чехословацким послом не присутствовало. Траутмансдорф ссылается на заявление В. Хагена (Хёттля), бывшего сотрудника СД и РСХА. Хаген (Хёттель), принявший с немецкой стороны какое-то участие в технической подготовке провокации против Тухачевского, рассказывает об этом в книге воспоминаний, однако, приводит в ней ряд фактов, которые вызывают очень большие сомнения в надежности его сведений. Заявление Хагена (Хёттля) сделано в 1951 г.; адресовалось ли оно Траутмансдорфу либо же третьему лицу — неизвестно. В этом заявлении говорится: «Утверждение Бенеша в его «Воспоминаниях» о том, что граф Траутмансдорф передал или предложил ему фальшивые немецкие документы о мнимых заговорщических планах советского маршала Тухачевского свидетельствует либо о старческой ошибке Бенеша в период написания его воспоминаний, либо же о сознательной фальсификации истории этим человеком». Далее нацистский разведчик утверждает, что Бенеш якобы чувствовал себя скомпрометированным своей связью с Гаусгофером и Траутмансдорфом в конце 1936 г. и своими объяснениями хотел этот факт затушевывать. Затем повторяется версия о том, что Гейдрих отказался от первоначально задуманного варианта «отпасовать» документы Москве с помощью чехословацкого Генерального штаба и т. п.

Следует подчеркнуть, что Хаген (Хёттель) весьма решительно опровергает то, о чем вообще ничего не говорится в «Воспоминаниях» Бенеша, а истинное содержание «неуклюжести» Траутмансдорфа, в интерпретации Бенеша, обходит молчанием. С помощью такой манипуляции можно было легко ввести в заблуждение рядового читателя. «Сильные» выражения о «старческой ошибке» Бенеша и даже о «сознательной фальсификации истории» являются лишь отвлекающим маневром. Следовательно, это опровержение нельзя считать серьезным, поэтому я по-прежнему убежден в правильности и объективности записи послом Мастны беседы 9 февраля 1937 г. и смысла общих высказываний Бенеша.

Важнейшим аспектом проблематики чехословацкого участия в «деле Тухачевского» являются вопросы, во-первых, о том, имел ли на самом деле президент Бенеш в своем распоряжении документы, сфабрикованные в Германии и говорившие о мнимой вине Тухачевского, которые затем он передал или отправил Сталину; во-вторых, о том, попытался ли чехословацкий президент, получив эти «документы», каким-то образом проверить их аутентичность, прежде чем передать в Москву. Несомненно, что документы, полученные с помощью разведки да еще имевшие столь важное значение, нельзя принимать со слепой верой, необходимо убедиться в их под-

линости. В зарубежной литературе, посвященной данной теме, во многих случаях косвенно высказывается сожаление, что дело с документами не было в достаточной степени продумано и взвешено до передачи Прагой информации в Москву. Увы, такое мнение утвердилось только в тот период, когда уже стало известно, что Бенеш был вовлечен в чрезвычайно изощренно задуманную и спланированную провокацию.

Собственная информация Бенеша в «Воспоминаниях» столь кратка, что не может быть серьезным ориентиром в исследовании проблемы. Основываясь на ней, нельзя даже с полной уверенностью установить, передавалось ли им Сталину только устное предупреждение или же имелись и письменные сообщения. Некоторые советские авторы высказывают мнение, что Бенеш, собственно, ничего не передавал в Москву [1]. Однако это суждение основано на весьма слабой источниковой базе: нельзя предполагать, что письменные сообщения подобного рода будут содержаться в обычных дипломатических материалах пражского полпреда; к конфиденциальным и секретным же сведениям, передававшимся Сталину посредством НКИД, работники архива МИД до сих пор не имеют доступа. С чехословацкой же стороны имеется информация только ближайшего сотрудника Бенеша из МИД доктора А. Гейдриха, который спустя более чем тридцать лет высказал предположение (заметьте, только предположение), что у президента не было на руках никаких письменных доказательств. Этот факт можно привести в качестве красноречивого свидетельства того, насколько осторожно подходил ко всему Бенеш уже весной 1937 г. Но в настоящее время мы знаем, что Бенеш летом 1937 г. сообщал ряду лиц о том, что он действительно держал документы в руках (см., например [13]).

С чехословацкой стороны по этому поводу высказался человек весьма авторитетный и компетентный, а по своей должности еще и хорошо информированный — генерал Франтишек Моравец, который в 1937 г. был полковником, начальником сыскной группы и одновременно заместителем начальника Второго (разведывательного) отдела Генерального штаба чехословацкой армии. Принимая во внимание то, что его воспоминания вышли в свет не только на чешском языке в эмигрантском издательстве (сейчас они изданы также в Праге), но и на английском [14]⁴, его трактовка стала известна историкам многих стран. Моравец говорит о «деле Тухачевского» довольно просто, но уже при беглом прочтении книги бросается в глаза, что он пишет, основываясь, главным образом, на военных мемуарах Черчилля и ряде немецких мемуаров; «Воспоминания» Бенеша упоминаются им лишь вскользь. Но ведь Черчилль писал (допуская при этом ряд фактических ошибок) лишь о том, что ему в январе 1944 г. поведал о «деле» сам Бенеш.

Ф. Моравец категорически отрицает утверждение ряда авторов о том, что сфабрикованные документы передали президенту Бенешу чехословацкие военные разведчики: «Документы подобного рода никогда не были в руках чехословацкой разведывательной службы. Если они и существовали, то Бенеш их получил по какому-либо другому каналу, о котором мне ничего не известно. (...) Было бы весьма странным, если бы Бенеш не потребовал от меня провести проверку подлинности таких документов, что всегда было в его правилах. Разумеется, нельзя абсолютно исключить возможность того, что какие-то документы подобного рода, о которых имеется упоминание в некоторых немецких воспоминаниях, существовали на самом деле. Нельзя исключать и того, что Бенеш мог получить их или же узнать о них, не поставив об этом меня в известность, так как хотел использовать эту информацию для маневра, который считал важным политическим ходом. Ни о чем подобном он мне не говорил и, к сожалению, не дал этому объяснения даже в своих „Воспоминаниях“... Как бы то ни

⁴ Воспоминания Ф. Моравеца содержат ряд неточностей и ошибок, некоторые из них, видимо, были вызваны тем, что он не принимал личного участия при подготовке рукописи к печати. Окончательный отбор документов и подборка текстов из обширной коллекции записей и воспоминаний, записанных на магнитофоне, проводились дочерью автора, госпожой Г. Дишер-Моравцовой.

было, фактом является то, что чехословацкая разведывательная служба ни в одной акции подобного рода не принимала участия». Таким образом, Моравец приложил все усилия для того, чтобы ни у кого не осталось ни грана сомнения в том, что он ничего не знал о «деле». В заключение Моравец констатирует: «Я убежден в том, что если бы нас информировали об этих документах, то мы бы распознали фальшивость этих документов — ведь это нам удавалось во многих других случаях, когда немцы пытались сделать подлог».

Полагаю, что уверенность Моравеца в том, что сфабрикованные немцами документы против Тухачевского могли быть распознаны в Праге, не является достаточно обоснованной. Мне не хотелось бы никоим образом недооценивать возможности офицеров его отдела, профессионализм и квалификацию техников, новизну и совершенство лабораторного оборудования, которыми, кстати, примерно в это же время восхищался глава швейцарской разведывательной службы полковник Массон во время своего посещения Второго отдела в Праге.

Собственно говоря, возможность определения фальсификата лежит в данном случае совершенно в иной плоскости, нежели использование особо совершенных технических методов для его изготовления. Подделывая документы, Берлин находился, бесспорно, в более выгодном положении, так как в Германии со времени тесного сотрудничества рейхсвера и Красной Армии (в 20—30-е годы. — *Прим. ред.*) имелся богатый выбор соответствующих образцов документов, бланков, подписей и т. д. В отличие от Берлина Прага не располагала подобным арсеналом сравнительного материала; всего лишь год сотрудничества с СССР не позволил накопить их достаточное количество. Сведения офицеров-разведчиков в Праге о реалиях, касавшихся Красной Армии в самом широком смысле слова, также были относительно скучными, поскольку Второй отдел никогда не работал против СССР; интерес чехословацких разведчиков концентрировался исключительно на Германии, Австрии и Венгрии, т. е. на потенциальных противниках. В Праге аккумулировались материалы, позволявшие с успехом проводить так называемую внутреннюю экспертизу документов, касавшихся, например, Германии, и разоблачать во многих случаях те фальшивки, которые «подбрасывал» Абвер в рамках разведывательной игры. Однако общий баланс соперничества с Абвером нельзя оценивать однозначно положительно; об этом свидетельствует, в частности, дело известного агента А-54 [15]. Опыт подобного рода был практически неиспользуем в том случае, когда материал поступал из Германии, но был при этом по своему происхождению советским или же имитировал таковой.

Автор наиболее фундаментального труда о роли Праги в «деле Тухачевского» И. Пфафф в полной мере воспринял выводы Моравеца. Он даже бросает упрек Бенешу, считая грубой небрежностью то, что документы из Германии не были подвергнуты тщательной проверке разведывательной службой; он пишет о преступном некритическом доверии Бенеша к германским подделкам, в результате чего, по мнению Пфаффа, чехословацкий президент лично способствовал начинавшемуся распаду основы антигитлеровской коалиции, одним из основателей которой являлся сам. И. Пфафф утверждает, что действия Бенеша весной 1937 г. были «самой крупной ошибкой на всем пути его политической деятельности» [7, с. 107, 115, 119].

Мы считаем, что упреки Пфаффа в адрес президента Бенеша необоснованы. Квалифицировать действия Бенеша весной 1937 г. как ошибочные можно лишь сегодня, когда совершенно точно известно, что он стал жертвой изощреннейшей провокации, наличие которой не мог предположить. Информация, на основании которой Бенеш принимал решения, давала ему полное право делать выводы о том, что существует реальная угроза переворота в Москве, притом такого, который привел бы к изменению политического курса в СССР в плане возврата к политике Рапалло. Политика же тесного советско-германского сотрудничества в ситуации, когда в Берлине к власти пришел Гитлер, представляла смертельную угрозу

для Чехословакии. Из этого следует, что Бенеш как ее президент был обязан сделать все, чтобы предотвратить подобную угрозу.

На наш взгляд, следует указать еще на один весьма примечательный источник. Мы имеем в виду интересное свидетельство генерала Олдржиха Тихи. О. Тихи — бывший легионер, вступивший в корпус в России, затем кадровый офицер, выпускник Высшего военного училища в Праге и Haute Ecole de Guerre в Париже, работавший с 1932 по 1941 г. во Втором стделе, один из группы «одиннадцати», которая во главе с Моравеци буквально выскользнула из рук немцев в марте 1939 г. и улетела в Лондон.

В 1937 г., будучи подполковником Генерального штаба, О. Тихи возглавлял секцию внешней разведки. Он рассказал мне, без точного указания даты (по всей видимости, события имели место где-то во второй декаде апреля 1937 г.), что Моравец лично ему сообщил в своей канцелярии следующее: в этот день его вместе с начальником Второго отдела полковником Генерального штаба Гаеком вызвали к президенту на Град, чтобы они провели экспертизу документа (возможно, докуменов), привезенного президенту послом Масти из Берлина и касавшегося сотрудничества Тухачевского с немцами [16]. Сообщение генерала Тихи было подтверждено также полковником Генерального штаба Р. Странкюллером, который заявил, что во время войны лично слышал то же самое от генерала Ф. Моравеца в Лондоне, где работал в качестве его заместителя (Моравец в это время уже возглавил Второй отдел)⁵.

Свидетельство генерала О. Тихи я считаю не только одним из важнейших, но и достоверным. Вызывает сомнения лишь та часть сообщения, где говорится о том, что документы должен был якобы привезти президенту посол ЧСР в Берлине. Но, в конце концов, в данном случае О. Тихи лишь воспроизводит слова Моравеца о том, как президент объяснил, каким образом документы попали в его руки. Остается узнать, почему в таком случае Моравец столь категоричен, отрицая не только то, что документы подобного рода могли быть добыты чехословацкой военной разведывательной службой (в чем он прав), но и то, что наверняка было ему известно. Представляется, что наиболее правдоподобным может быть совершенно банальное объяснение: ему не хотелось по прошествии десятилетий признаваться в том, что и он «клонул» на берлинские фальшивки, ведь Моравец высоко оценивал свой профессиональный опыт. Как уже отмечалось, для идентификации фальшивок в Праге не было необходимых условий.

Итак, факт наличия у президента Бенеша упоминавшихся документов, на мой взгляд, неоспорим.

Советские историки знакомы с работой И. Пфаффа, которая в переводе с немецкого была опубликована в «Военно-историческом журнале». Русский перевод, однако, отличается от оригинала. Отличие заключается в том, что хотя в тексте приводится упоминание о резолюции политбюро ЦК ВКП(б), однако текст этой резолюции, обнаруженный в архиве МИД Германии и в первоначальном тексте статьи опубликованный в приложении, был в советском издании опущен. Вместо него в журнале воспроизведено не имеющее особого значения сопроводительное письмо посла Германии в Вене фон Папена к этому документу. Согласно данным Пфаффа, этот документ, как и ряд других материалов, были получены германским посольством в Вене или же лично фон Папеном из разведывательного источника, по всей вероятности от кого-либо из советского дипломатического представительства в Вене (или же от корреспондента ТАСС, как указывает И. Пфафф). Все эти документы были использованы не только МИД Германии, но и внешнеполитическим бюро нацистской партии (бюро Риббентропа) и даже адъютантурой и личной канцелярией Гитлера.

Не так давно два западногерманских историка высказали весьма серьезные сомнения по поводу этого разведывательного материала. Смысл

⁵ Сведения генерала Тихого были опубликованы мною в варшавском публицистическом еженедельнике [17].

сомнений в том, что якобы полученные разведывательным путем советские документы нельзя в целом воспринимать как аутентичную запись заседания политбюро или аутентичные решения политбюро ЦК ВКП(б). Оппоненты не менее допускают, что изготовители этих «документов» могли иметь доступ к определенным закрытым материалам в СССР. Я не могу высказать свое отношение к заключению авторов, которое базируется на изучении трех комплексов документов, хранящихся в германских архивах. Что значит их вывод для заключения о подлинности и достоверности постановления от 24 мая 1937 г. по «делу Тухачевского»? Следует отметить, что текст постановления, которое известно лишь в достаточно слабом переводе на немецкий язык, содержит весьма точные детали, касающиеся чехословацкого участия в «деле», т. е. подробности, которые не могли быть известны кому бы то ни было, кроме самого узкого круга сотрудников президента Бенеша и лиц из окружения Сталина; эти сведения, по всей вероятности, опираются на неизвестный до настоящего времени текст личного послания Бенеша Сталину от 7 мая 1937 г., сопровождавшего передачу полученных из Германии документов. Отметим лишь высокую степень совпадения отраженной в резолюции политбюро версии об официальных, хотя и секретных переговорах советских представителей с Берлином, и пересказа Маккензи первого разговора Бенеша с Александровским. Такое совпадение не может быть случайным. Разумеется, я не могу доказать абсолютную аутентичность найденного в германском архиве протокола. Однако указанное совпадение представляется нам весьма сильным аргументом в пользу если не аутентичности, то во всяком случае достоверности документа. Разумеется, можно допустить, что речь идет о так называемом разведывательном «игровом материале», умышленно предоставленном с целью дезинформации другой стороны. Однако не следует забывать, что неотъемлемой составной частью «игрового материала» является обязательное наличие в нем и достоверных данных, в противном случае он не выдержал бы критической проверки. Разумеется, обе составные части — и правдивая и фиктивная — не должны обязательно наличествовать в каждом документе, достаточно включить их надлежащим образом в определенный набор передаваемых документов.

После изучения материала, касающегося «дела Тухачевского», который уже накоплен в литературе (хотя материал этот все еще неполон, отсутствуют прежде всего ключевые документы из советских архивов, главным образом, партийных, органов безопасности, секретариата Сталина, в меньшей мере государственных архивов, таких как архив МИД), естественно, вновь возникает вопрос: кто же являлся истинным творцом и духовным отцом этой изощреннейшей провокации? Был ли им действительно Гейдрих, как утверждают в первую очередь Хаген (Хёттель) и особенно Шелленберг? Эта традиционная схема выглядит следующим образом. Примерно в ноябре 1936 г. шеф СД Гейдрих получил определенную информацию от своего агента из среды белой русской эмиграции во Франции генерала Н. Скоблина, подозревавшего немцами в том, что он ведет двойную игру, т. е. является также и советским агентом. В информации Скоблина сообщалось, что в эмигрантских кругах циркулируют слухи о бонапартистских склонностях маршала Тухачевского, которые он намерен реализовать, по всей вероятности, в сотрудничестве с немецким генералитетом. Гейдрих «вычислил» удобный случай и разработал концепцию дезинформационной акции. Примерно в середине декабря эта акция была одобрена Гитлером, после чего ей был дан ход. Детали технической подготовки, как для нас не существенные, мы можем оставить в стороне.

Прежде всего следует констатировать, что принятая повсеместно версия Шелленберга не выдерживает никакой критики из-за соображений хронологического порядка. Примерно такие же слухи о бонапартистских или же пугчицких склонностях советского маршала имели хождение в дипломатических кругах еще за несколько месяцев до ноября 1936 г. Так, в августе 1936 г. Геринг сообщал об этом заместителю министра иностранных дел Польши Я. Шембеку; их отзвуки содержатся и в сообщениях чехословацких дипломатов до ноября 1936 г. Источник этих слу-

хов, как правило, обнаруживается в кругах правящей нацистской верхушки. Весьма вероятно, что они были услышаны также и советскими дипломатами, аккредитованными в европейских столицах. Однако окончательный вывод можно сделать лишь в том случае, если будет предпринято комплексное изучение советского архивного материала, причем не только текущих сообщений полпредов в НКИД, но и секретных сообщений, которые передавались ими, например, непосредственно в политбюро или же лично Сталину. Сообщения о подобных случаях, затрагивающих выдающуюся советскую личность, несомненно, входят в разряд сверхсекретных, которые не обнаружить в обычном реестре министерства. Недавно промелькнула информация в советской прессе о генерале Скоблине, который действительно являлся советским агентом; давнее подозрение зарубежных авторов получило, таким образом, подтверждение.

Если нацистский аппарат распространял компрометировавшие Тухачевского слухи и ранее, то почему в таком случае организация столь блистательно выполненной провокации против него началась только в конце 1936 г.? Вплоть до этого времени в Берлине, видимо, не были уверены в том, какое впечатление производит распространявшаяся информация.

Нет никакой загадки в том, почему Берлин распространял слухи и дезинформацию именно о Тухачевском. В процессе многолетнего советско-германского сотрудничества в военной области Тухачевский стал хорошо известен в среде немецкого генералитета. Там понимали, что он — ведущая фигура современной военной теоретической мысли, сторонник радикальной модернизации методов ведения войны и блестящий организатор. Из его выступлений последнего времени ясно вытекало, что он прекрасно ориентируется в аналогичных поисках в германской армии и видит нарастающую со стороны Германии угрозу. В перспективе этот исключительно способный военачальник, несомненно, мешал бы нацистам. Но только ли им? На сегодняшний день мы не располагаем достаточной документальной базой для подробного анализа внутриполитической обстановки в СССР; нам известны лишь отдельные ее фрагменты.

Явным оппонентом М. Н. Тухачевского в армии являлся маршал К. Е. Ворошилов, послуживший инструментом в руках Сталина, человек, не обладавший высшим военным образованием, который в пику Тухачевскому с его идеями использования танков, моторизованной пехоты и парашютных десантов не уставал превозносить роль кавалерии. Много лет назад Тухачевский обвинил Сталина в том, что в 1920 г. своими необдуманными действиями, отказом (вместе с Буденным) подчиниться приказу штаба РККА он явился виновником того, что не удалось взять Варшаву и тем самым сделать первый шаг для того, чтобы революция охватила Европу. Данное обвинение являлось одним из самых тяжких, какое только можно было публично предъявить революционеру: он проморгал шанс разжечь в Европе революцию. Stalin же ничего не забывал...

В литературе появилась даже информация о том, что Тухачевский и некоторые другие военные рискали выступить с критикой первого московского процесса в августе 1936 г. против Каменева и Зиновьева [19]. Фактом же является то, что Тухачевскому как в личном плане, так и по службе был очень близок комкор В. Путна (они воевали вместе еще в 1920 г. именно в Польше), имя которого на первом московском процессе было названо среди мнимых троцкистских заговорщиков. Это позволяет сделать следующий вывод: к августу 1936 г. было решено, что процессы и чистки затронут и армию, причем некоторые из жертв уже были, видимо, тогда определены. Арест Путны давал возможность прогнозировать, что жертвы будут и из окружения Тухачевского. Протоколы процесса или по крайней мере пространные выдержки из них публиковались в «Известиях», показания против Путны являлись, следовательно, общизвестным фактом.

Немногим позднее, скажем, в ноябре 1936 г., к Гейдриху явился Скоблин, чтобы в качестве особого секрета и ценного известия сообщить о сплетнях среди русской эмиграции, которые, как две капли воды, были похожи на слухи, уже в течение длительного времени исходившие из на-

цистских кругов. Что должен был думать Гейдрих, когда его агент, о котором он знал или по меньшей мере подозревал, что тот служит не только ему, передал в качестве «большого открытия» информацию, которая распространялась самими нацистами уже несколько месяцев подряд? Важным является именно данный факт, двойная связь этого «разведисточника», человека, который не был ни новичком, ни наивным дураком. Можно было сделать логический вывод, что Скоблин этим сообщением передает Гейдриху сигнал другого своего «хозяина», что все распространявшиеся до сих пор дезинформации о Тухачевском известны другой стороне и принимаются в качестве возможной основы для разведывательной игры. И. Пфафф относится к подобной интерпретации и вообще к гипотезе московского происхождения слухов отрицательно. Он утверждает, что нельзя приписывать Гейдриху и СД второстепенную роль простых помощников другой, соперничающей державы [7, с. 101–102].

Нельзя не признать, что Гейдрих был в своей области величиной, фигурой и его не могла удовлетворить роль лишь «исполнителя заказа», да еще и от «большевиков». Наоборот, создавалась ситуация, способствовавшая проведению изощренной разведывательной игры, причем игры с воистину фантастически высокой ставкой: ликвидация не просто отдельной личности, хотя бы и весьма серьезного потенциального военного противника, но и всего его окружения. По проводившимся сталинским чисткам уже тогда было ясно, что они затрагивают не только отдельные лица, но целые группы и слои населения. Причем нужно отметить, что риск неудачи в этой игре был минимальным: публичное обвинение Путна в троцкизме четко указывало на то, что после репрессий в государственном и партийном аппарате грядет очередь военной верхушки.

В этой игре Гейдрих располагал широкими возможностями выбора средств и методов. Он мог остановиться, скажем, на «пасовке» слухов непосредственно советской разведывательной службе. Однако в этом случае имелся хотя бы сугубо теоретический риск, что получателем информации или посредником в ее передаче мог стать «человек Тухачевского», который не даст хода фальшивке. И. Пфафф сделал правильный вывод о том, что версия передачи фальшивки через Прагу, причем с помощью высокопоставленного политического деятеля, президента, исключала возможность заглушить «дело». В события оказывалась посвящена третья сторона, а далее оставались лишь две возможности: либо сделать из обвинения жесткие выводы, либо убедить третью сторону в том, что речь идет об ошибке, фальсификации и т. д., что было не так просто. Кроме того, в данном варианте являлось практически очевидным, что о «деле Тухачевского» Прага тактично проинформирует и Париж.

Гипотеза о советско-германской сыгравности и разведывательной игре в «деле Тухачевского» может указать на один весьма существенный аргумент: речь идет о показаниях К. Радека на суде 24 января 1937 г.⁶ Информационная ценность этого показания на скамье подсудимых не была вплоть до настоящего времени должным образом оценена. Как известно, Радек вновь назвал Путну в качестве заговорщика-троцкиста, но он называл и М. Н. Тухачевского [20, с. 160]; Путна в это время уже находился в заключении, Тухачевский же оставался пока еще на свободе. Хотя Радек и давал Тухачевскому самую лестную характеристику как человеку, «до конца преданному партии и правительству», но что за цена у похвалы, звучавшей со скамьи подсудимых из уст человека, обвинявшегося в государственной измене, терроризме и т. п. в провокационном политическом процессе? Недооценка значимости показаний Радека состоит в том, что была проигнорирована единственная короткая фраза в них, касавшаяся Чехословакии [20, с. 127]. Эта фраза свидетельствует о том, что показания являлись одним из звеньев, шагов в той систематически проводившейся дезинформации, которая была нацелена прежде всего на президента Бенеша, чтобы убедить его в грозящей опасности возможного

⁶ В Праге отсутствует издание книги протоколов январского процесса 1937 г. на русском языке. Мною было использовано официальное издание на немецком языке [20].

возврата к политике Рапалло, политике сотрудничества с Германией. Это была продуманная синхронизация психологического давления на Бенеша: сначала «просачивание» секретных слухов из Берлина в середине января о якобы ведущихся советским правительством тайных переговорах; примерно через 10 дней следуют показания Радека, в которых он объявляет троцкистскую оппозицию сторонницей сверхопасной для Чехословакии концепции; далее следует сигнал из Берлина о подготовке антисталинского путча. Нет сомнений в том, что перед нами блестяще проведенные психологическое давление и дезинформация! Припомним в этой связи, что если поступавшие из Берлина «инсинации» режиссировались прямо или же косвенно Гейдрихом, то показания Радека, в первую очередь его упоминание о Чехословакии (Радек говорил о намерении заговорщиков аннулировать договорные обязательства о предоставлении Советским Союзом военной помощи Чехословакии), которое было не спонтанным, а заранее спланированным (ибо, строго говоря, было совершено лишним, не несло никакой видимой функциональной нагрузки), режиссировал не Гейдрих, а Вышинский, а через него — Сталин.

Следует подчеркнуть, что вплоть до настоящего времени остаются неизвестными очень многие необходимые материалы, с помощью которых можно было бы исследовать «дело Тухачевского» во всех деталях и фазах его развития. Для того, чтобы провести такое исследование, необходим доступ не к отдельным документам, а ко всему комплексу архивных фондов, прежде всего советских. Остается надеяться, что необходимые ключевые документы не были сознательно и безвозвратно уничтожены при попытке «замести следы». Сейфы открываются и говорят, пепел — никогда⁷.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамов Н. «Дело Тухачевского»: новая версия.— Новое время, 1989, № 12.
2. Beneš E. Paměti. Od Mnichova k nové válce a novému vítězství. Praha, 1948, s. 33—34; Beneš E. Memoirs. Boston, 1954.
3. Černý V. Paměti. Sv. IV. Toronto, 1988, s. 193.
4. Potůstalost JUDr Karla Gorovského, rukopis «Zápisky ze zakázaného světa» (1960).
5. Churchill W. S. The Gathering Storm. London, 1948.
6. Пфафф И. Прага и дело о военном заговоре.— Военно-исторический журнал, 1988.
7. Vierteljahrsschriften für Zeitgeschichte, 1987, № 35.
8. Mackenzie C. Dr. Benes. London, 1946, p. 184.
9. Kvaček R. Nad Evropou zataženo. Praha, 1966.
10. Šeba J. Rusko a Malá dohoda v politice světové. Praha, 1936.
11. Celovsky B. Das Münchenar Abkommen 1938. Stuttgart, 1957, s. 95—97.
12. Frankfurter Allgemeine Zeitung.
13. Král V. Spojenectví československo-sovětské v evropské politice 1935—1939. Praha, 1970, s. 212—213.
14. Moravec F. Master of Spies. The Memoires of General Moravec. London, 1975, p. 108—110; Moravec F. Spion, kterému nevěřili. Toronto, 1977, s. 156—158.
15. Matlíř J. Spor o agenta A-54.— Svět v obrazech, 1988, № 40—52; 1989, № 1—4.
16. Tichý O. Vzpomínky a příběhy ze zpravodajství (rukopis), psáno 1987.
17. Polityka, 1989, № 6.
18. Reiman M., Sütterlin I. Sowjetische «Politbüro-Beschlüsse», der Jahre 1931—1937 in staatlichen deutschen Archiven.— Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 1989, № 37, 2.
19. Domarączyk Z. Sprawa Tuchaczewskiego — podwójne dno.— Tygodnik Kulturalny, 1988, № 50.
20. Prozessbericht über die Strafsache des sowjetfeindlichen trotzkistischen Zentrums, verhandelt vor dem Militärkollegium des Obersten Gerichtshofes der UdSSR vom 23.—30. Januar 1937 gegen J. L. Pjatakow, K. B. Radek, G. J. Sokolnikov... Vollständiger stenographischer Bericht. Moskau, 1937.

⁷ Данная публикация отражает одну из возможных точек зрения на рассмотренную Я. Валентой проблему. Надеемся, что наши читатели примут участие в обсуждении статьи чехословацкого историка и высажут свои суждения о «деле Тухачевского». — Прим. ред.



ВАСИЛЕВСКИ ТАДЕУШ

СЛАВЯНСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОЛУНСКИХ БРАТЬЕВ КОНСТАНТИНА-КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

Среди исследователей решительно преобладает мнение о греческом происхождении и этнической принадлежности Константина и Мефодия [1—3]. В XIX и начале XX в. только некоторые русские историки высказывались за их славянское происхождение; в настоящее время так считают и болгарские исследователи [4 — 6¹; 7 — 9].

В обоих, наиболее старых, восходящих еще к IX в., обширных житиях Константина и Мефодия никогда не называют греками, однако в них вообще нет непосредственных свидетельств, касающихся их этнической принадлежности. Убеждение в их греческом происхождении основывается на двух фрагментах Пространного жития Мефодия (далее — Ж Меф), в которых представлено отношение сначала обоих братьев, а затем самого Мефодия к славянскому языку и обычаям. Приведем их поочередно в переводе Б. Флори: (Император Михаил III обращается к братьям): «Вы ведь солуняне, а солуняне все чисто говорят по-славянски» [10, с. 220]. Раньше тот же агиограф так написал о назначении Мефодия архонтом: «... пока цесарь, (узнав) о быстроте (ума) его, дал ему править славянским княжеством, скажу я, как будто предвидел, что пошлет его к славянам как учителя и первого архиепископа, чтобы научился всем славянским обычаям и понемногу к ним привык» [10, с. 218].

Несмотря на явную неточность автора Ж Меф, пишущего двадцать лет спустя, что император послал Мефодия к славянам как их «первого архиепископа», отмечаем, что оба вышеупомянутых фрагмента Ж Меф только на первый взгляд свидетельствуют о греческой этнической принадлежности обоих солунских братьев. Надо принять во внимание существовавший в Византии обычай не обращать внимания на этническое происхождение своих граждан. Император Михаил III в цитированном выше заявлении — согласно агиографу — поступил так потому, что если даже оба брата не были славянами, то несомненно их было много среди жителей Солуни, а об этом император также молчал, не проводя различий между греками и славянами. Хорошо известен процесс быстрого проникновения в X и XI вв. славянской аристократии в города византийской Далмации, подобное явление имело место и в Солуни. Тем более не говорит об этнической принадлежности Мефодия сообщение моравского агиографа, автора Ж Меф, о том, что Мефодий, став князем славянской архонтии, учился и привыкал к славянским обычаям. Автор Ж Меф, (им был не Климент Охридский, как это доказал, в частности, Т. Лер-Славински, а коренной мораванин), прочитал в Пространном житии Константина-Кирилла Философа (далее — Ж К) или узнал у самого Мефодия и его учеников, прибывших из Византии в Моравию, что оба брата родились и воспитывались в городе Солуни, в котором действовали греческие законы и обычай. Автор Ж Меф был уже знаком ранее с Крат-

Василевски Тадеуш — д-р ист. наук, профессор Варшавского университета.

¹ А. Э. Тахиас [3] не цитирует этих работ.

ким житием Мефодия (потерянным), о котором речь будет идти дальше, и из него узнал, что Мефодий стал княжить в возрасте 12 лет. На этом основано его замечание, что император как будто предвидел его позднейшую задачу и оставил его еще на 10 лет в славянской среде, где мальчик превратился во взрослого мужчину, не теряя близкого контакта со славянскими обычаями и средой, что несомненно случилось бы, если бы молодой Мефодий попал в греческие школы в Константинополе, на службу в армию или в императорский дворец.

Значительно более четко, чем в выше упомянутых двух фрагментах ЖК Меф, этническая принадлежность обоих солунских братьев определяется в других отрывках ЖК и ЖМеф. Автор ЖК сам себя называет славянином [10, с. 94].

Исследования по ЖК уже давно указывают, что автором или по крайней мере соавтором этого памятника был сам Мефодий, брат усшедшего Константина-Кирилла².

В пользу авторства Мефодия свидетельствуют очень веские аргументы. Перечислим их вкратце.

1. Мефодий поехал в Рим в 880 г., чтобы лично подарить это произведение папе Иоанну VII³. Маловероятно, что дарились чужая работа.

2. Автор ЖК проявил глубокую осведомленность о семейной ситуации и молодых годах Константина, определяя положение отца как друнгария под стратигом, приводя факты, свидетельствующие о прекращении плотской связи между его родителями после его рождения, и даже передавая ход его беседы с матерью перед отъездом в Моравию [10, с. 94, 130].

3. Он обнаруживает исключительно высокий уровень византийской литературной образованности, а также теологических интересов, значительно превосходящий уровень автора ЖМеф (ср. [16]).

4. В тексте проявлена скромность, характерная для средневековых авторов, особенно агиографов; умалчивается даже факт участия Мефодия в миссионерской деятельности брата, например, в хазарской миссии. Такое умолчание было бы непонятным, если бы автором ЖК был кто-то из учеников обоих братьев, Климент Охридски или Наум. Раньше сам Константин также умолчал, описывая находку реликвий папы св. Климента,— о своем участии в этом открытии, как свидетельствует письмо библиотекаря Анастасия епископу Гаудерику.

Единственным серьезным аргументом, который выдвигается против авторства Мефодия, является самоопределение автора ЖК как славянина. В I главе ЖК читаем, что Бог сделал милость также «для нашего поколения (=род), воздвигнув нам такого учителя, который просветил народ наш (=языкъ)» [10, с. 94]. Однако если веские доводы говорят за авторство Мефодия, то гораздо логичнее было бы сделать вывод о его славянском происхождении.

Мефодий в 14 главе ЖК пишет о посольстве князя Моравии Ростислава к императору Михаилу III, подчеркивая, что моравский владыка обратился к императору с такими словами: «Нет у нас такого учителя, чтобы нам на языке своем (мое исправление.— Т. В.) изложил правую христианскую веру» [10, с. 121]. Подлинные слова текста «въ свои юзыкъ» в русском переводе оказались заменены выражением, искажающим этот текст: «на языке нашем». Переводчик Б. Флоря повторил в этом случае латинский перевод Гревеца «nostra lingua» [17], вместо более близкого первоначальному тексту «sua lingua». Нет сомнений, что автор ЖК — архиепископ Мефодий — имел в виду общий славянский язык как учителя Константина Философа, так и моравян, и утверждал в этом отрывке, что князь Ростислав попросил императора, чтобы учитель был славянином. Более обоснованным было бы вместо исправления выражения источ-

² Мефодия называет соавтором ЖК Ф. Пастернак [11], в то время как польский историк А. Брюкнер считал, что ЖК было разработано самим Мефодием в 879 г. перед поездкой в Рим [42; 13].

³ Это мнение болландистов П. Мейверта и П. Девоса, основывающееся на июньской булле Иоанна VIII Industriae tuae 880 г., адресованной князю Святополку [14; 15].

ника одобрить предложение Й. Вашицы, другого сторонника теории о греческом происхождении солунских братьев, и рассматривать слова «въ свои юзыкъ» как вставку в подлинном тексте Ж. К [18]; (ср. [19]).

Анализ аналогичного отрывка в главе 5 Ж. Меф, касающегося посольства князя Ростислава к царю Михаилу III, показывает, что Ростислав просил у императора учителей славян, которые до сих пор отсутствовали в Моравии: «и пришли из Моравии к цесарю Михаилу, говоря так: „Мы — божьему милостью здоровы и пришли к нам учителя многие от итальянцев, и от греков, и от немцев и учат нас по-разному, а мы, славяне, люди простые и нет у нас (никого), кто бы нас наставил истине и дал нам знание“» [10, с. 219]. Итак, Ростислав просил у императора не греков, которые уже просвещали в Моравии, а именно учителей славян. Если бы в ответ на просьбу Ростислава в Моравию прибыли коренные греки, даже превосходно владеющие славянским языком, автор Ж. Меф не вложил бы в уста моравских послов заявления о том, что мораване не хотели греков, так как они уже знакомы с их миссионерской деятельностью в Моравии. Это единственное место в Ж. Меф, проливающее свет на проблему этнической принадлежности солунских братьев⁴.

Другое упоминание о славянском происхождении братьев находим в анонимном «Похвальном слове святым Кириллу и Мефодию», созданном в Болгарии после бегства из Моравии епископа Вихинга (ок. 894 г.) и прекращения преследований славянских духовных, но еще до падения великоморавского государства (ок. 910 г.) (см. [21; 10, с. 233—234, 241]. Автором «Похвального слова» считают Климента Охридского или Константина младшего Преславского. Согласно этому «Слову» солунские братья перевели номоканон (Кормчая) с греческого на свой язык для них (т. е. для мораван): въсъ црквины законъ прѣложьша от гръческаго въ свои имъ юзыкъ прѣдаста.

Выражение, составленное из двух местоимений свои имъ, употребленное здесь вместо более простого словосочетания въ ихъ юзыкъ несомненно содержит точную информацию о том, что солунские братья перевели номоканон на «свой язык», т. е. славянский, «для них», т. е. для моравских славян. Автор «Похвального слова» считал обоих братьев славянями. Совершенно иначе толкует А. Е. Тахиос другой фрагмент того же «Слова», выводя из него греческую принадлежность обоих солунских братьев [3, р. 119—120]. Приведем русский перевод этого отрывка: «ибо присельцы на земле чужой, закон же от бога приняли не своему племени, как Авраам, но народу (=юзыкъ в подлинном тексте), что не умел различить ни право ни лево» [10, с. 237]. Слова эти написал в Болгарии один из преследовавшихся в 886 г. учеников обоих славянских апостолов, который, конечно, хорошо знал созданное в Моравии Ж. Меф. Можем только констатировать, что он очень сдержанно отметил чужой характер своего «племени» и «языка» — в этом случае моравского народа по отношению к приезжим из далекой Македонии, из христианского византийского мира. Праславянские слова племе, и даже юзыкъ, употребленные в указанном отрывке, относятся не ко всему славянскому этносу, как считает А. Е. Тахиос, но лишь к одному из славянских народов. Трудно подозревать, чтобы автор «Похвального слова» мог утверждать, что все славяне, в том числе византийские и болгарские славяне, «не умели различить ни право ни лево» — чего, по мнению автора, в 886 г., когда из Моравии были изгнаны ученики Мефодия, по всей вероятности, не сумели сами мораване. Т. Лер-Славински так же оценивал аналогичное выражение во 2 главе Ж. Меф: «Бог милостивый ... языка ради нашего ... на добрый чинъ вздвиже нашего учителя Мефодия» [10, с. 217], считая, что

⁴ И. Дуйчев пытался найти в главе 2 Ж. Меф свидетельство о негреческой национальности Мефодия (см. [19]). Испорченное выражение источника «пъръци» Дуйчев исправлял на «гръци». Более убедительной представляется точка зрения В. Ткадльчика [20], предлагающего в этом месте читать «пъръви», ссылаясь на пересказ этой главы Ж. Меф в Похвальном слове: «всеми владыками бысть любим». Все же К. Мечев [9, р. 177], не зная дополнительного материала Ткадльчика, высказывает за вариант «търъци».

слова эти написал автор Ж Меф., сам коренной мораванин, относя их только к своему «языку», т. е. моравскому народу, а не к славянам в целом [22; 23].

Краткое житие Кирилла, обычно называемое «Успение Кирилла», которое иногда приписывается Клименту Охридскому, называет Константина-Кирилла «Бльгарины родом», тем самым ставя знак равенства между понятиями болгарин и славянин [24]. «Успение Кирилла» было создано только в XIII в.⁵, одним из его источников является несомненно потерянное Краткое житие Кирилла, в котором его могли назвать славянином.

Из латинских источников сведения о этническом происхождении одного из солунских братьев содержатся только в «Conversio Bagoariorum et Carantanorum». В подлинном тексте этого трактата, созданного около 871 г., недавно появившегося из Византии Мефодия называют «quidam Graecus», в то время как в приложении к этому трактату, именуемому «Excerpta de Karantanis» и добавленному несколько позже, он выступает как «Sclavus» [26]. Полагаем, что оба эти определения лишены этнического и даже национального значения, и характеризуют только церковное положение Мефодия. Сначала Мефодий был монахом и священником греческой церкви, а потом архиепископом великой славянской митрополии, охватывающей Моравию и Паннонию. Болгарского Симеона только из-за того, что был воспитан, а также посвящен в духовный сан в Константинополе, звали полу-греком.

Не будем здесь повторять общеизвестных аргументов, свидетельствующих в пользу славянского происхождения братьев, приводимых с давних пор языковедами. Они обращали внимание на совершенство знания обоими братьями славянского языка, который должен был быть для них чем-то более близким, чем язык, выученный благодаря контактам со славянской средой [6, с. 183–193]. Изумляет чистота их переводов на славянский язык, в особенности, отсутствие эллинизмов.

Хотим зато несколько ближе присмотреться к общественной и государственной позиции обоих братьев (а предварительно и их отца, Льва), на их близкой сердцу родине — солунской земле («селунска страна») — в свете Ж К и Ж Меф.

Автор Ж Меф отмечает, что его герой «был же он с обеих сторон не из худого рода, но доброго и честного, давно известного сначала и богу и цесарю, и всей Солунской земле» [10, с. 218]. Поражает нас в этом свидетельстве определение тесной связи его семьи с одной только землей или фемой Византийской империи — Фессалоникой (Солунью). Из Ж К и Ж Меф узнаем далее, что город Фессалоника являлся постоянным местом жительства как братьев, так и их отца. Семья была известна с давних пор, кроме Бога и цесаря только жителям солунской земли, т. е. проживала здесь от поколений, в то время как стратиг фемы и его подчиненные, в том числе и друнгари, по правилам, принятым в Империи, должны были каждые несколько лет менять территорию своей деятельности, поднимаясь на высшую должность по строго определенным правилам⁶. Не только Лев, но даже молоденький Мефодий тревожно долго, целых 10 лет, носил высокое звание архонта⁷. Семья Льва и Мефодия, если бы они были обычновенными императорскими чиновниками, должна была быть хорошо известна не только в одной феме Фессалонике, но по крайней мере на всем византийском Западе.

Общественный и служебный (военный) статус византийского друнгари (сначала занимающего в военной иерархии фемы третье место после стратига и турмарха), который уже в X в. превратился в почти обыкновенного солдата, превышал званием только простых солдат-стратиотов, как это исчерпывающе представил И. Шевченко [2].

⁵ Дату создания сочинения определил Б. Н. Флоря [25].

⁶ Об этом свидетельствуют списки стратигов, а потом катепанов Италии, составленные Ф. фон Фалькенхаузеном [27].

⁷ Десять лет его владения по Прологному краткому житию Мефодия (далее — Пр К Ж Меф), с. 260.

Принимая во внимание тесную связь семьи с солунской землей и ее славянское происхождение, ставят вопрос, был ли Лев просто обычным друнгарием. Ф. Успенский считал в 1885 г., что братья из Фессалоники были славянского происхождения, а друнгарий — это звание славянского племенного начальника, которым был не только Лев, но некоторое время и святой Мефодий [5, с. 107—125]. Мнение Успенского было частично подвергнуто сомнению позднейшими исследователями, показавшими, что «друнгарии» — старогерманский термин, впоследствии проникший от германцев в римскую и византийскую армию [28]. Однако идея Успенского о взаимосвязи военного звания Льва с владычеством над племенной славянской территорией заслуживает особого внимания и дальнейшей разработки.

В византийской военной фемовой организации друнгарий являлся командующим единицей, именуемой моира (*μοῦρα πήγα*), из которых три создавали одну турму. Так как фема охватывала чаще всего две территориальные турмы, хотя могла состоять и из трех, друнгарий Лев командовал отрядом, выставлявшимся шестой или девятой частью фемы Фессалоники. Как ее высокопоставленный служащий он имел также дом в самом городе и, главным образом, в нем пребывал. Очевидно, он был одним из эллинизированных архонтов фессалоникских славян, о которых сохранилось довольно много сведений в источниках. Уже его далекий предшественник из VII в., Пербоунд, хорошо знал греческие языки и обычай [29]. Лев принадлежал к фессалоникским *«presveis ethnōn»* пречисленным в иммунитетном формуляре царских документов, выданных в XI в. монастырям в Афоне [30]⁸.

Константин VII Багрянородный поместил в *«De ceremoniis aulae byzantinae»* описание приема императором Михаилом III в зале Хрисотриклинии взбунтовавшихся, а затем приведенных к повиновению славян из земли Субделития (более правильно Сагудатия?). Потом была введена другая группа славян из архонтии Фессалоники, которая не участвовала в бунте, вследствие чего каждый из ее членов получил в дар от императора по одному платью [31]. Это свидетельство подтверждает существование архонтии Фессалоники, которую возглавляла племенная славянская аристократия. Она была склонна к бунтам еще и в X в. При Романе I Лакапине фессалоникские славяне напали на епископа Лиутпранда, когда тот ехал послом к императору в Константинополь. Тогда послу удалось схватить двух из их начальников (*duo eorum princeps*) [32]. Предполагаем, что друнгарий Лев принадлежал к властям архонтии Фессалоники, состоявшим по крайней мере из нескольких человек, и владел частью ее территории⁹.

Назначение племенных владык служащими фемовой организации — нередкое явление в Византии. Камениата, работавший в начале X в., т. е. во время еще близкое периоду жизни солунских братьев, представил в *«De expugnatione Thessalonicae»* образ стратига стримонитов — одного из местных славянских князей, назначенных на этот пост императором [34]¹⁰. На полтора века позже князь Захлумян Лютовид был назван Попом Дуклянином, пишущим в середине XII в., *«princeps regionis Chelmaniae»*, в то время как в выставленном им в середине XI в. документе он носил звания протоспафария *ερι tou chysotriklinou*, ипата и стратига Сербии и Захумля [36].

Император производил в стратиги значительно чаще армянских князей, чем славян. Так, Лев VI назначил Крикория, армянского князя Тарона магистром и стратигом Тарона [37]. Практика назначать армян турмархами была настолько всеобщей, что в формуляре иммунитетной грамоты стратига Лонгобардии аббатству на Монте Кассино (882) был внесен

⁸ Новое издание актов Лавры оказалось недоступным для меня.

⁹ Раздел большой архонтии, охватывающей целое племя, на меньшие территориальные единицы, которые греки также называли архонтиями, имел место на земле варваров в архонтии Вагенитии, охватывающей в XII—XIII вв. много мелких архонтий [33].

¹⁰ Об этнической славянской принадлежности стратига Стремона см. [35].

пункт об изъятии аббатства из-под компетенции «*cartulariis et protonotarei, thromacis armeni, graeci, et longobardi gastalldeis*» [38]. В византийской Месопотамии была создана в X в. сеть армянских фем, возглавляемых армянскими аристократами, которые как начальники местного ополчения и главной крепости своей фемы носили звания стратигов [39]. Назначение эллинизированных племенных князей, позже называемых топархами — стратигами и турмархами также и в славянские земли, которые благодаря этому получали статус фемы или турмы, являлось постоянной практикой в IX и X вв. Впрочем, местных князей во второй половине IX в. уже не назначали друнгариами из-за быстрого снижения ценности этого звания в византийской армии. Благодаря этим назначениям фемная армия обогащалась солдатами из соплеменников новых славянских стратигов, турмархов и друнгариев.

Предполагаем затем, что и друнг Льва, принадлежащий к войску фессалоникской фемы, состоял из солдат, обязанных служить в армии, так как они владели землей в фессалоникской архонтии. Лев, как один из архонтов, владеющих ее частью, по всей вероятности, также именуемой архонтией, был назначен императором или стратигом начальником всего контингента фессалоникской архонтии как друнгарием (славян) Фессалоники. Аналогичным образом, на более высокой степени управления, один из архонтов стримонцев командовал как стратиг солдатами, призванными со всей племенной территории [34; 35].

Поэтому предполагаем — в отличие от Успенского — что только Лев был одновременно одним из фессалоникских архонтов и командующим славянским друнгом этой фемы, в то время как его сын Мефодий был только архонтом части фессалоникской архонтии [5, примеч. 2].

Таковы наиболее вероятные предположения относительно происхождения, общественного и военного статуса Льва, вытекающие из двух установленных фактов: славянской этнической принадлежности его благородной семьи и занимаемой Львом должности «друнгария под стратигом».

С большей вероятностью могут быть определены этническая принадлежность и общественное положение его старшего сына, Мефодия. Он владел, как предполагаем, славянским княжеством согласно решению императора и по праву наследования. О передаче Мефодию славянского княжества сохранились следующие известия:

Прологное краткое житие Мефодия

когда же бысть **VI.**
лѣть. постави ѧго
кнѧзьемъ въ Словѣнѣхъ.
и пребывъ тамо. **I.** лѣть.
извѣче ѧзыкъ словенъскии.
[40, с. 102—103; 10, с. 260].

Пространное житие Мефодия, гл. 2

дондеже ц(ѣ)с(а)рь, оувѣдѣвъ
быстроѣ ѧго кнѧженик
ѧмоу же азъ, ѿко прозрѧ,
како и хоташе оучителѧ словѣ —
никъ посылати, и първаго
архиеп(и)с(ко)па, дабы про-
оучилъся вѣсѣмъ обычаемъ
словенскыимъ и обыкль и по-
малоу. III сътворь же въ томъ
кнѧж(ен)ии лѣта многа.
[24, т. 1, р. 141—142; 10, с. 218].

Из-за отсутствия издания Пр Кр Ж Меф текст источника был установлен на основе старейших известных рукописей, представляющих две наиболее старые сохранившиеся редакции жития. Более старая редакция Краткого жития Мефодия, включенная возможно первоначально в утраченный южнославянский пролог XII—XIII вв. вошла — согласно В. Мошину — во вторую редакцию русского пролога на переломе XIII и XIV вв. [41] (ср. также [42]). Тексты, представляющие эту русскую редакцию Пр Кр Ж Меф, были изданы сначала П. А. Лавровым в 1930 г. [40] по рукописи Синодального собрания Государственного исторического музея, № 1063 с записью о ее написании 26 сентября 1406 г., которая на-

ходилась ранее в библиотеке Успенского собора в Кремле [10, с. 260—263; 37—39].

В предисловии к изданию ЖЖ Кир Меф Б. Флоря во фрагменте, посвященном Пр Кр ЖЖ Меф, обратил внимание на другую редакцию этого текста; старейшей известной рукописью этой группы является так называемый Прилуцкий пролог XIV—XV вв. Характерной чертой этой редакции, по мнению Б. Н. Флори, являются заимствования из «Успения Кирилла», среди них, в частности, свидетельство, связывающее возникновение славянского алфавита с периодом правления Мефодия в славянском княжестве. На этом основывается исследователь, выделяя два извода Пр Кр ЖЖ Меф, т. е. типы Успенский и Прилуцкий [10, с. 38—39]. Такая классификация не решает, однако, всех вопросов, так как требует дополнительного предположения о позднейшем влиянии текстов типа Прилуцкого пролога на Успенскую группу. Вопрос о существовании двух отдельных редакций остается нерешенным, пока не будут изданы и дополнительно изучены все ранние списки Пр Кр ЖЖ Меф.

Все использованные П. А. Лавровым рукописи вместе с Прилуцкой XIV—XV вв., а также Успенская рукопись 1406 г. передают цитированный выше текст о приходе Мефодия к власти над княжеством в возрасте 12 лет и о 10-летнем периоде его правления. Предположение Б. Флори, что первоначально в источнике говорилось о 20-летнем возрасте Мефодия, когда он вступил в управление славянским княжеством, не подтверждается рукописной традицией, но также не позволяет дать и более убедительного толкования этого текста [10, с. 260 примеч. 1]. Даже для 20-летнего юноши обычное повышение по службе на высокий пост архонта земли, которая в последующем стала фемой, было бы преждевременным и поэтому невозможным. Мефодий мог получить такую высокую должность в молодости лишь по наследству, а в этом случае его возраст не имел значения.

Сопоставляя оба свидетельства о передаче Мефодию славянского княжества, приходим к выводу о их происхождении из общего источника. Ни в коем случае значительно более сжатый, но зато передающий конкретные данные о возрасте Мефодия и количестве лет владения княжеством, текст Пр Кр ЖЖ Меф не является пересказом 2 и 3 глав ЖЖ Меф, как в последнее время считает Б. Н. Флоря [10, с. 260, примеч. 1, 2]. Оба писателя по-разному представили молодость Мефодия. Моравский автор ЖЖ Меф опустил все числа, но зато более подробно передал отрывок об ознакомлении подрастающего Мефодия со славянскими обычаями, отличающимися от городского греческого обычая, господствовавшего в Солуни, в то время, как автор Пр Кр ЖЖ Меф искал текст, отметив, что Мефодий научился языку, а не славянским обычаям, но зато сохранил числа.

Общим источником для обоих агиографов Мефодия могло быть, вероятно, его утраченное Краткое житие. По естественному ходу дел сначала было создано Краткое житие Мефодия, содержащее много конкретных дат из его жизни, быть может, написанное в связи с его торжественными похоронами, а несколько позже — базирующееся на нем ЖЖ Меф (Пространное). Из этого утраченного первоначального Краткого жития Мефодия заимствована цитата, приведенная в Месяцеслове XI в., добавленном к Евангелию Ассемани (см. [43]).

Признавая свидетельство Пр Кр ЖЖ Меф о его управлении славянским княжеством достоверным, констатируем, что он получил императорское назначение на основании наследственных прав около 832 г. как старший сын Льва (родденный, по всей вероятности, ок. 820 г.), и отказался от него после десяти лет владения около 842 г.

О наследственных правах Мефодия по отношению к славянской земле, независимо от приведенного выше свидетельства Пр Кр ЖЖ Меф, говорит и терминология обоих текстов: «*княжени€*» (ЖЖ Меф, гл. 2), «*княземъ въ словѣнѣхъ*» (Пр Кр ЖЖ Меф), которые являются точными эквивалентами греческих терминов «архонт» и «архонтия». Византийские императоры ставили во главе какой-либо территории, определяемой как архонтия, только представителей местной аристократии. Даже в городах архонты назначались только из патрициата или феодалов, проживающих в данном

городе, которые правили в нем в последующем как представители городского самоуправления. Неизвестен ни один пример назначения из Константинополя императорского чиновника греческого происхождения, чужого для данной территории, которого потом называли архонтом. Император высылал в провинции только стратигов и низших фемных и податных служащих. Во всех случаях, в которых возможно было определить социальный и национальный статус архонта, он принадлежал к представителям местного общества.

Я. Ферлуга в исследовании о военных фемовых административных единицах, стоявших на административной лестнице ниже фемы, занимался только архонтами тех городов и городских районов, перечисленных в середине IX в. в «Тактиконе» Успенского, которые на протяжении IX и X вв. превратились в фемы, возглавляемые собственными стратигами, но сохранили все-таки институт архонтов [44]. Согласно Ферлуге эти архонты были представителями местного общества, а удержание их позиций в новых фемах было результатом компромисса между центральной и локальной городской властью по отношению к землям, расположенным на далеких окраинах империи. Даже архонт Кипра представлял — согласно Ферлуге — городскую власть, существование архонтии Кипра объясняется большим количеством городов и периферийным положением этого острова.

Часть архонтов, перечисленных в «Тактиконе» Успенского, могли, однако, не иметь ничего общего с городской властью, но принадлежали к местным князьям, правящим по наследству в данной архонтии. В большинстве случаев тактики не учитывали, однако, этой категории местных архонтов. В перечнях византийских рангов и учреждений, созданных в IX и X вв., не помещены архонты славянских племен, возглавлявшие несколько раз уже упомянутую архонтию Фессалоники, а также архонты Эллады и Стримона, засвидетельствованные в других источниках, главным образом, надписями на печатях [45, № 2300, р. 1264], в то время как в этих таблицах находим стратигов как Фессалоники, так и Эллады и Стримона (от 899 г.) [46]. Уже это обстоятельство свидетельствует о том, что не включенные в эти перечни архонты не были греками, назначенными и присланными императором чиновниками, но принадлежали к местной славянской аристократии.

До сих пор не опубликована печать архонта Фессалоники, известны, однако, две печати архонтов Эллады, Петра ипата и архонта Эллады, восходящие к VIII в. [45, № 2300], а также Даргаскавоса, архонта Эллады без ранга, датированная VIII—IX вв. [47]. Издатели Г. Зачоп и А. Веглери, обращают внимание на то, что эти архонты появились в период, когда во главе Эллады стояли уже ее стратиги. Имя, зафиксированное на печати в виде «Даргаскаво», обнаруживает славянскую этническую принадлежность владельца, так как выступает в нем популярный в славянской ономастике член Дарго-Драго. Само имя звучало, по-видимому, как Драгослав, а в греческой транскрипции — Драгославос.

Кроме таких архонтов, стоявших, возможно, во главе всех славян на территории Эллады, здесь известны и архонты отдельных племен, подчиненные, быть может, главному архонту Эллады, подобно тому, как к числу архонтов Фессалоники принадлежал — по всей вероятности — архонт Субделитии (Сагудатии?) и архонты Другувитии.

Издания византийских печатей позволяют отметить существование архонта «Эвидитис» или «Эвилитес» (топоним нелокализирован), который около 750—850 гг. выступил как царский спафарий [45, № 2467], (ср. [47, № 299]). Знаем также три печати архонтов вихитов Эллады, по всей вероятности, славян: 1. Печать анонимного царского остиариоса эпохи ту ойкиакон и архонта вихитов Эллады [48], цит. по [45, № 1877, р. 1963]. 2. Печать Константина, архонта вихитов (VIII—IX вв.) [49]. 3. Печать Эсагеса, царского спафароандидата и архонта вихитов (вторая половина IX в.) [45, № 1877, р. 1063]. Его имя может быть искаженным славянским именем.

Также на Пелопонесе выступали хорошо известные из произведения

Константина VII Багрянородного «De administrando imperio» архонты славянских племен милингов и езеритов, а также племени из Магны, которых стратиг Пелопонеса назначал на их архонтии [50].

Большим славянским племенем, во главе которого стояли такие пазнавшиеся императором архонты, были стримонцы. К IX в. относится печать Варды, протоспафария и архонта Стремона (Струмы) [45, № 1753] (ср. [51]). Его высокое звание и имя Варда, ставшее популярным после воззвания цесаря Варды, дяди Михаила III, указывают на принадлежность этой печати скорее ко второй, чем к первой половине IX в. В пользу славянской этнической принадлежности архонта Варды говорит славянство его преемника, который в начале X в. имел кроме того более высокий титул стратига Стремона, который был дан ему, кажется, в связи с введением в нарождающейся феме Стремона соответствующей военной организации. Также стоит обратить внимание на то, что имена не только архонта Стремона, но и членов семьи солунских братьев совпадают с именами членов царствующей династии: Варда, Лев, Михаил (=Мефодий) и Константин.

Говоря о славянских племенных архонтиях, существовавших в VIII—X вв., следует отметить еще две печати архонтов ваюнов: анонимного архонта VII и VIII вв. и Иллариона, императорского протоспафария и архонта Вагенитии IX—X вв. [33, р. 427].

Приведенные примеры показывают, что и Мефодий мог стать архонтом славянского княжества только как представитель местного общества. Обратим еще внимание на опускаемую обычно деталь из биографии его младшего брата, Константина. Опекун его, евнух Феоктист, логофет дрома, предлагал ему светскую карьеру, назвал как ее первую ступень получение княжества, т. е. аналогичной или, быть может, даже той же славянской архонтии, которую тогда, около 842 г., оставил Мефодий, уехав на Олимп. Позднее как архонт Константин должен был получить пост стратига, по всей вероятности, также в феме, образуемой на славянской земле [10, с. 98].

В качестве аргумента в пользу греческого происхождения Кирилла и Мефодия неоднократно приводились их тесные связи с императорским двором в Константинополе и с наиболее знаменитыми государственными деятелями Империи, евнухом Феоктистом и Фотием, искали даже их родственные связи с высшей византийской аристократией [52]¹¹. Царский двор был, однако, недоступным для сыновей обыкновенного фемового друнгария. Друнгарий Никифор, муж святой Марии младшей, проживал в деревне, а его жена переехала в город Виза только тогда, когда муж стал турмархом. Его старший сын Ваанис не умел писать, в то время как младший, Стефан-Симеон, благодаря тому, что умел читать и писать был принят на службу в царский дворец, хотя, скорее, на какую-нибудь низкую должность [2, р. 348]. Трудно подозревать, что Никифор даже после производства в турмархи мог мечтать о том, чтобы отдать своих сыновей в дворцовую школу, куда ходили члены императорской семьи. Младший сын друнгария Льва, Константин Философ, мог оказаться в дворцовой школе как сын славянского князя и заложник. Мефодий также до 12 лет находился вблизи императора, «имел его цесарь всегда перед собою», отметил автор Пр Кр Ж Мэф, повторяя информацию потерянного Краткого жития Мефодия [10, с. 260]. Солунские славяне в IX в., и даже в X в. несколько раз бунтовали против императорской власти, но присутствие на дворе заложников удерживало их в повиновении. Византийские императоры постоянно задерживали на своем дворе молодых князей, сыновей или братьев правителей подчиненных народов.

Не дождалось также объяснения возникновение славянского имени и даже имен Мефодия, под которыми чтили его в Чехии. В текстах на чешском языке встречаются, особенно с XIV в., Страхота¹², а иногда также

¹¹ А. Е. Тахиас в [3] не выразил своего мнения относительно фантастических домыслов К. Бони, согласно которому два солунских брата были родственниками даже императора Михаила III и патриарха Фотия.

¹² Не ранее чем в первой половине XIV в. в старочешской несколько сокращенной редакции кирилло-мефодиевской легенды, называемой «Diffidente Sole», помещенной в Passionale. Статья [53] была для меня недоступной.

Хроznата от латинского слова «*metus*», на славянских языках «страх, гроза, (hroza)». Чешские исследователи доказали, что оба этих славянских имени являются довольно неудачным переводом греческого имени *Methodios*, рассматривавшегося как производное от латинского слова «*metus*» (страх) (см. comment. в [24, р. 285, примеч. 2]). Двойкий способ перевода этого имени исключает гипотезу болгарских исследователей, что Мефодий имел славянское имя Страхота, данное ему славянскими родителями [54]. Остается, однако, вопрос, к какому времени относится такое толкование его имени с помощью латинского слова; может быть, это имело место уже в Чехии X—XI вв.

Резюмируя, отмечаем, что в обоих пространных житиях солунских братьев они выступают как славяне, а не греки. Пространное житие Константина было написано его братом Мефодием, который сам определил себя в нем как славянин. Славянскую этническую принадлежность Мефодия определяем также на основании свидетельства, происходящего из его потерянного Краткого жития, повторенного автором Прологного краткого жития Мефодия, согласно которому царь назначил его в возрасте 12 лет архонтом славянского княжества, расположенного в солунской земле, из числа славянских заложников, пребывающих на его дворе. В таком молодом возрасте архонтом мог стать только сын славянского князя в силу наследственных прав. Даже если абстрагироваться от свидетельства Пр Кр Ж Меф как позднего и сомнительного, назначение на пост архонта в раннем возрасте, что отмечает также Ж Меф, все равно говорит о принадлежности Мефодия к местной славянской аристократии, так как архонты в VII—X вв. были представителями славянских племен по отношению к центральным византийским властям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Dvornik F.* Les légendes de Constantin et de Methode vues de Byzance. Prague, 1933.
2. *Shewtshenko J.* On the social background of Cyril and Methodius.— In: *Studia Palaeoslovenica*. Praha, 1971, s. 341—351.
3. *Tachias A. E.* L'origine de Cyrille et de Methode. Vérité et légende dans les sources slaves.— *Cyrillomethodianum*, № 2, 1972—1973, p. 98—140.
4. *Погодин М. Св. Кирилл и Мефодий — славяне, а не греки.* — В кн.: Православное Обозрение. Т.14. М., 1864.
5. Успенский Ф. На память тысячелетней годовщины славянских просветителей.— Киевская Старина. Исторический журнал, вып. 12, 1885, с. 107—126.
6. *Погорелов В.* О народности апостолов Славянства.— In: *Z badani na poli staroslovanskej literatury*. T. IV. Bratislava, 1927.
7. *Георгиев Е.* Кирил и Методий, основоположници на славянските литератури. София, 1956, с. 14—21.
8. Константин-Кирил Философ. Юбилеен Сборник по случай 1100 годишнината от смъртта му. София, 1969, с. 34—43, 63—68.
9. *Mечев К.* De l'appartenance nationale des éducateurs slaves Cyrille et Methode.— *Palaeobulgarica*, 1982, № 3, p. 174—179.
10. Жития Кирилла и Мефодия. М.— София, 1986.
11. *Pasternak F.* Dějiny slovanských apoštolů Cyrilla a Methoda s razborem a otiskem hlavních pramenů. Praha, 1902.
12. *Brückner A.* Thesen zur Cyrillo-Methodianische Frage.— Archiv für slavische Philologie, № 28, 1906, S. 186—229.
13. *Brückner A.* Die Wahrheit über die Slavenapostel. Tübingen, 1913, S. 14 passim.
14. *Meyvaert P., Devos P.* Trois énigmes cyrillomethodiennes de la «Légende Italique», résolues grâce à un document inédit.— *Analecta Bollandiana*, № 73, fasc. III 1953, s. 375—461.
15. *Devos P., Meyvaert P.* La date de la première rédaction de la «Légende Italique».— *Cyrillo-Methodiana*. Slavistische Forschungen, Bd. 6. Köln — Graz, 1964. S. 57—71.
16. *Vavřinek V.* Staroslověnské Životy Konstantina a Metoděje. Praha, 1963.
17. Constantinus et Methodius Thessalonicenses Fontes. Rec. et illustr. F. Grivec et F. Tomšic. Kn. 4. Zagreb, 1960, s. 199.
18. *Vašica J.* Literarní památky epochy velkomoravské 865—885. Praha, 1966, s. 235; *Marečkova D.* Moravské poselstvo do Carihradu jako řecký Dokument (K výkladu 5. kapitolu Života Metodějeva, 14. kapitulu Života Konstantinova a začatku Zakona sudného ljudem).— Slovo, № 18—19, s. 115.
19. *Dujtschew J.* «Graeci amantes eum a puero». Studien zur Geschichte Europeas.— Wiener Archiv für Geschichte des Slaventums im Osteuropeas, № 5, 1966, S. 15—19.
20. *Tkadlčík V.* «Přavnici» v Životě Metodějově.— Slovo, 1972, № 22.
21. *Флоря Б. Н.* Сказание о начале славянской письменности. М., 1981, с. 58—61.

22. Lehr-Spławinski T. Konstantyn i Metody (Zarys monograficzny z wyborem źródeł). Warszawa, 1967, s. 22.
23. Żywoty Konstantyna i Metodego (obszerne). Przekł. pol. ze wst. i objaśn. oraz z dodatkiem zrekonstruowanych tekstów staro-cerkiewno-słowiańskich sporządzonych przez T. Lehr-Spławinskiego. Warszawa, 1968, s. XXIII.
24. Magnae Moraviae fontes historici. T. 2. Pragae Branae, 1967.
25. Флоря Е. Н. К вопросу о датировке «Успения Кирилла». — Советское славяноведение, 1986, № 6.
26. Conversio Bagoriorum et Carantanorum. Ljubljana, 1936. — с. 139, 1—9, с. 140, 13—25.
27. Von Falkenhausen V. La dominatione bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo. Bari, 1978, p. 76—99.
28. Кулаковский Я. Друнг и друнгарий. — Византийский Временник, 1902, № 9, с. 1—30.
29. Miracula sancti Demetrii. II, 4.
30. Actes de Lavra I. Paris, 1945, № 31, строки 39—40, 1079 г., № 37, строки 42—43, 1081 г., № 41, строки 46—47, 1086 г.
31. Constantini Porphyrogeniti de Ceremoniis aulae byzantinae. T. I. Bonnae, 1829, p. 634.
32. Liutprandi Antapodosis, lib III, 21. — In: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. T. III, p. 307.
33. Lascaris M. Vagenitia. — Revue historique du Sud-Est Européen, № 19, 1942, p. 423—437.
34. Joannis Caminiatae De expugnatione Thessalonicae. Rec. G. Böhling. Berolini et Novi Eboraci, 1973, с. 20, p. 19—20, строки 72, 78—81, 89—91.
35. Наследова Р. А. Македонские славяне конца IX — начала X в. по данным Иоанна Камениаты. — Византийский Временник, 1956, № 11.
36. Wasilewski T. Stefan Vojislav de Zahumlje, Stefan Dobroslav de Zeta et Byzance au milieu du XI^e siècle. — In: Zbornik Radova Vizantološkog Instituta. Srpska Akademija Nauka. Beograd, 1971, № 13, s. 119.
37. Constantine Porphyrogenite. De administrando imperio. Budapest, 1949, раздел 43, строки 65—66.
38. Trinchera, Syllabus, № 3, с. 2—3.
39. Actes du XIV^e Congrès International des études byzantines. Bucarest 6—12 septembre 1971, vol I. Bucarest, 1974, p. 285—302.
40. Лавров П. А. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930.
41. Mošin V. Slavenska redakcija prologa Konstantina Mokisijskog u svjetlosti vizantijsko-slavenskih odnosa XII—XIII vjeka. — In: Zbornik Historijskog Instituta Jugoslavenske Akademije. Zagreb, 1959, № 2, s. 40 etc.
42. Күев К. Проложните Жития на Кирил и Методий в ленинградските хранилища. — Palaeobulgarica, G. 9, 1985, № 1.
43. Лавров П. А. Кирило та Методий в давньо-слов'янському письменстві. Київ, 1928, с. 121—123.
44. Ferluga J. Niže vojno-administrativne jedinicce tematskog uredjenja (Military and Administrative Thematic Units of an Inferior Rank). — Zbornik Radova Vizantološkog Instituta. T. 2, 1953, s. 88—93.
45. Zacos G., Veglery A. Byzantine Lead Seals, vol. 1—2. Non-imperial seals: VIth to IXth centuries, Basel, 1972.
46. Les listes de préséances byzantines des IX^e et X^e siècles. Introduction, texte, traduction et commentaire par N. Oikonomidis. Paris, 1972, p. 49, строки 13, 16 (перечни рангов Успенского), p. 101, строки 23, 25, 27 («Клиторологий Филофея» 899 г.), p. 247, строки 21, 23, 25 (перечни рангов Бенешевича от 934—944 гг.).
47. Konstantopoulos K. Byzantiaka Molybdoboulla. Athènes, 1917, № 49.
48. Mordman A. Hellenikos filologikos syllogos. Constantinople, vol. XVII. Supplément, 1886, p. 149.
49. Schlumberger G. Sigillographie de l'Empire byzantin. Paris, 1884, p. 731.
50. Bon A. Le Péloponnèse byzantin jusqu'en 1204. Paris, 1951, p. 102—103.
51. Christofilopoulou A. Byzantine Makedonia. — Byzantina, № 12, 1983, p. 50.
52. Μπένη Κ. Οι ἄγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος οἱ τῶν Σλάβων ἀπόστολοι καὶ ἡ Βασιλικὴ τοῦ ἄγιου Δημήτριου Θεοσαλονίκης. In: Κύριλλος καὶ Μεθόδιος τέμπλος ἐπὶ τῇ χιλιοπτή καὶ ἑκατοπτή, ἔτηριδε, Ι. Ἐν Θεσσαλονίκῃ 1966.
53. Ludvíkovský J. Život svatých Crha a Strachoty v staročeskem Passionale. — In: Sborník Rodné zemi. Brno, 1958, s. 360—365.
54. Павлов И. Чески доказательство за името Страхота. — Palaeobulgarica, 1980, № 1 (35), s. 68—72.



ХОРЕВА О. А..

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ЧЕХИИ СЕРЕДИНЫ XIX В.

(От «чешской культуры XIX в.» — к изучению культуры
этнически неоднородного общества Чешских земель.
К постановке проблемы)

Культурно-исторические исследования — уже достаточно традиционная тема советского славяноведения. Не стоит в стороне от них и отечественная боемистика, имеющая на своем счету и множество статей, и несколько крупных монографий, посвященных периоду новой истории. В последние годы эти культурологические исследования координирует, как сообщалось в научной печати, специальная исследовательская группа Института славяноведения и балканстики АН СССР [1]. В качестве рабочей дефиниции продолжало служить выбранное в 70-е годы определение культуры как совокупности материальных и духовных ценностей, созданных человеком в процессе трудовой деятельности и в практике его общественного развития [2, с. 8].

Среди малоизученных применительно к культуре Чехии вопросов и такие, как религиозность общества XIX в., женская эмансипация, ассоциативное движение, распространение в массах политических знаний (политизация общества нового времени). Но все же наиболее актуальны, из неизученного, национальные аспекты культурно-исторической ситуации в Чехии.

Одна из важнейших задач при изучении культуры — определение творящих ее субъектов. Давен спор, что же изучают историки — историю народа, нации или историю страны. Выскажем сразу наше мнение применительно к теме статьи: время властно требует изучения культуры не только «по эпохам», «по этносам», «по нациям», но и по реально существовавшим в разные эпохи государственно-территориальным, не обязательно однополицеским, образованиям. Таким «самым реальным» естественным ареалом жизненного пространства для чешского народа были Чешские земли, на территории которых существовало этнически неоднородное общество, главными этническими компонентами которого были чехи и немцы. Другие национальности, прежде всего евреи, в процентном отношении к общей численности были очень незначительны и не оказывали специфического влияния на общественное развитие. Другое дело, что те культурно-идеологические процессы, которые проходили в обществе Чехии, влияли на эти группы, и это также заслуживает внимания специалистов.

За последние несколько лет благодаря политике гласности советские люди узнали многое о «хорошо забытого старого» об этническом составе сво-

Хорева Ольга Алексеевна — канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института теории и истории социализма ЦК КПСС.

его общества и связанных с этим проблемах. В славяноведческой науке также активно ликвидируются «белые пятна». Одно из оставшихся — замалчиваемый исторический факт активного экономического и культурно-политического бытия в XIX в. немецкой (немецкоязычной) составляющей полиглоссического общества Чехии. Не пора ли в связи с этим отказаться от достойных гоголевской дамы эвфемизмов при «вынужденном» упоминании немцев Чехии — типа «проживали», «находились», «жили постоянно» (а о пражском поэте Эберте, за 80 лет жизни покидавшем Чехию вообще от силы 2—3 раза для кратковременных поездок, даже — «выходец из Чехии»)? О немецком языке: «употреблялся *наряду* с чешским»? Уместно ли формулировать, что, дескать, «немецкий языковой и литературный пласт для Чехии XVIII—XIX вв. — пласт *иноzemный*»? Что в XIX в. в Праге, Брно, Оломоуце и многих других городах «находилось немало лиц немецкого происхождения»? (выделено мной.— O. X.).

Заговорим о немецком населении Богемии — встанет вопрос о численности национальных групп. Известно, как активно он дебатировался в немецко-чешских дискуссиях периода революции 1848—1849 гг. Год спустя пражский немецкий писатель Клучак высказался отрицательно об этой «невозможной и неплодотворной затее — пытаться дать точные цифры о численности чехов и немцев в Австрии. Эти два народа живут вместе столетия. Наряду с германизированными чехами можно встретить и чехизированных германцев» [3]. Тем не менее цифровые данные на этот счет существуют. Не целесообразно ли изучить их в совокупности, в динамике, проанализировать с учетом их «предыстории», методик исчисления и современного понимания проблемы документальной фиксации этнической идентичности?

В очерке австрийской поэзии XIX—XX вв. читаем: «Славянское было естественным субстратом — слоем — подосновой всей культуры в целом» [4]. Если австроведы задумываются над ролью славянского субстрата, естественно будет и славистам поразмышлять о немецком суперстрате. А далее, наверное, не ограничиваться упоминанием союзнических отношений между чешской культурой, с одной стороны, и немецкой культурой за пределами империи, выражавшихся во внимании Гете и т. п., а показать эти — с нашей точки зрения, в определенные моменты существовавшие — союзнические отношения в рамках Чехии и ее культуры. Вот несколько примеров из биографий деятелей чешской национальной культуры XIX в. Из биографии чешского композитора В. Томашека: был женат на сестре пражского немецкого поэта К. Э. Эберта, Вилемине, хорошо знавшей и культивировавшей в семье славянский музыкальный фольклор. Из биографии знаменитого чешского историка Ф. Палацкого: молодым дружил с упомянутым К. Э. Эбертом, в 60-е годы был близок с Й. Венцигом — пражским немецким педагогом, деятелем культуры, переводчиком, либреттистом Б. Сметаны. Из жизни чешского литератора В. Ганки: панегирический очерк о нем написал для пражского немецкого альманаха «Либусса» на 1852 г. пражский немецкий литератор Глюкзелиг [5]. (Не тот ли, что на 10 лет раньше перевел на немецкий язык стихотворение Ганки для «Альбома в честь Гуттенберга»? [6].) Из творческой биографии чешского художника Карла Пуркине: он создатель портретов многих своих современников, например, уже упоминавшегося в этой сводке немца Й. Венцига. Приведенные факты не укладываются в рамки бытового межнационального общения, неизученность которого, кстати, является нашим упущением, ведь упускается-то, по сути, исследование одной из сторон национального вопроса,— не борьбы за ликвидацию угнетения, а межнациональных отношений.

На сегодня в отечественной богемистике превалирует изучение чешской национальной культуры. Что это означает для нашей науки? Напомним известные афоризмы: кто изучает только химию, тот не знает и самой химии. Нельзя познать целое, не зная части и т. п. Оставив за бортом изучения меньшую по численности, но очень значительную «по существу» группу населения, мы потеряли не просто какие-то факты или имена. Мы лишились целого жизненного пласта. Из исторического материала ока-

залось выдернуто огромное множество нитей; в результате не ослаблена ли ткань нашего исторического повествования, не менее ли явствен, а порой мало понятен рисунок «исторического узора»?

Предлагаемый нами подход нисколько не предполагает отказа от больших научных достижений отечественной богемистической культурологии. Более того, как будет видно из дальнейшего изложения, нередко мы опираемся на факты, наблюдения и выводы советских богемистов. Другое дело, что иные ценные подходы до сих пор остаются не реализованными и не включенными в рамки более широкой исследовательской программы. Без таковой, паверное, не обойтись. Ведь даже восстановление, так сказать, механической суммы культурных явлений, существовавших на территории Чехии, дело не для одного «отдельно взятого» исследователя. Речь же идет о более сложном — на основе изменения объекта изучения в сформулированном здесь направлении отразить в нем *differentia specifica* страны в данную эпоху, что может обогатить, думается, наши представления, ибо тогда уже нам не абстрагироваться от ряда реальных противоречий процесса развития культуры и ныне ускользаемых от исследования тем, прежде всего такой темы культурных связей, как контакты между этническими субэлементами культуры Чехии.

Взять, например, судьбы литературы, развивавшейся здесь на немецком и чешском языках. Если действительно обратиться к комплексу книгоиздательской продукции, художественной прежде всего, выходившей в Чешских землях (или, в редких случаях, за ее пределами, но из-под пера уроженцев Чехии), то рассмотрение в совокупности и синхронно немецких и чешских произведений может быть очень плодотворным. Знакомство с литературой 30—40-х годов позволяет, например, говорить о тематической общности, существовавшей между двумя этническими (или разноязычными) субэлементами беллетристики Чехии. В качестве таковой выступал чешский национальный историко-легендарный материал.

Может быть, нужно говорить о том, что понятие «чешская литература середины XIX в.» должно быть для того же времени дополнено понятием «литература Чехии?» Возможно, уже простая «инвентаризация» двуязычного литературного потока выявит неизвестные или забытые факты, особенно немецкого элемента местной литературы (имена К. Э. Эберта, А. Бергера, В. Д. Герле, У. Горна, Ф. Клучака, отчасти К. Герлосзона), а также такой формы взаимодействия обоих компонентов литературы Чехии, как переводы (с чешского языка на немецкий, с немецкого на чешский). Девятнадцатое столетие называют порой веком переводов. Это верно и для Чешских земель. Известно, что местные немецкие литераторы занимались переводами чешских произведений прозы и поэзии на немецкий язык. Достаточно сослаться на деятельность Й. Венцига, З. Каппера, отдельные переводы М. Гартмана и др. Была ли ответная, с немецкого на чешский, переводческая деятельность? (Имеются в виду произведения богемских немцев.) Л. Н. Титова прямо сформулировала исследовательскую задачу: «переводы — неотъемлемая часть национальной литературы и должны изучаться наряду с оригинальным творчеством» [7]. Понятно, что очень многое переводилось на чешский язык выдающийся пражанин рубежа XIX—XX вв., писавший на немецком языке Ф. Кафка. А что было до мирового успеха его творчества? Как и когда переводились на чешский язык «Чешские элегии» М. Гартмана, поэма «Ян Жижка» А. Мейснера, «Божена» М. Эбнер-Эшенбах? История любого такого перевода или «неперевода» — это заполнение новой клеточки в «периодической таблице» взаимодействия элементов культуры страны. Да и вся местная немецкая беллетристика, несмотря на забвение и отсутствие литературного потомства, заслуживает если не литературоведческого изучения, то историко-культурного внимания в методологических рамках истории всемирной литературы и культуры. Только отказ от выборочного подхода и на персональном, и на групповом уровне поможет и избежать завышенных оценок культурных явлений, и понять забвение как вид социальной репрессии со стороны победителя.

К середине XIX в. сформировался тот круг антропо- и топообразов —

Либуше, Люмир, Бланик и т. п., который вдохновлял художников и композиторов Чехии во второй половине XIX в. (например, работы скульпторов В. Левый, Й. В. Мыслбек, картины художника М. Алеша и т. д.) и получил широкое распространение в сознании народных масс. Не выходит ли так, что создавалась данная «стереотипическая сетка» совместно и чешскими, и немецкими деятелями культуры, а интерпретировалась в конце XIX в. все больше как достояние чешского национального Пантеона?

В настоящее время активно изучается языковая ситуация в Чехии XIX в., но главным образом с одной, чешской, стороны. Несмотря на кажущуюся самоочевидность положения с немецким языком и немецкоязычного населения, здесь немало в действительности неясного. Прежде всего это касается билингвизма — бытового, творческого, индивидуального, группового и т. д., реального существования и — тоже — реальной борьбы немецкого и чешского языков в разных сферах коллективного и индивидуального бытия. Как могло случиться, что начинавший писать по-немецки поэт М. З. Полак (1788—1856) перешел затем в своем творчестве на родной чешский язык, а в конце жизни и основной — военной — карьеры вновь его забросил? Московские исследователи могли бы сказать свое слово и через изучение параллельных — одновременно выходивших самостоятельно на чешском и немецком языках — изданий периода революции 1848—1849 гг. из коллекции Й. А. Гельферта, находящейся в нашем городе. (Пример такого издания за 1824 г. привел знаток ленинградских коллекций А. С. Мыльников [8].)

Наверное, необходимо сопоставить историю чешской журналистики XIX в. с прессой, книгоиздательствами, книготорговлей, осуществлявшимися силами местных немцев на немецком языке. Помимо достаточно изученных пражских немецких изданий «Ost und West» Р. Глазера [9] и «Prager Zeitung», залежи культурно-исторического материала имеются в альманахе «Libussa» П. Клара, в серии «Böhmens Burger, Veste und Bergschlösser» (1844—1849), в газете 1848—1849 гг. «Constitutionelles Blatt aus Böhmen» и других (в частности, за 1848—1849 гг. во множестве хранящихся в библиотеке ИТИС). Если процесс создания книг на чешском языке в начале и середине XIX в. (будителей и «властенцов») уже хорошо воссоздан, этого нельзя сказать о процессе их распространения, их превращения из диковинки, шедевра патриотизма в товар, в предмет обихода заинтересованных в информации на национальном языке масс. Для этого необходимо представить читателю и коммерческую сторону дела, в том числе переход от финансирования авторов книг через меценатство, субсидии властей к гонорарной системе оплаты труда литераторов, переход от фигуры идеяного издателя к фигуре издателя-коммерсанта. В 50-е годы активно работало пражское чешское книгоиздательство «Kober». Ранее, в 40-е годы, был очень известен (паряду с именами других местных издателей) немецкий пражский книготорговец Боррош (о нем см. [10], глава «Демократ из Праги»). Исследование работы чешских, и немецких книготорговых заведений и книжных издательств, типографий в крупных городах и на периферии, тиражей и цен книг, образование серий научных и художественных изданий — это все темы глав большого, еще не написанного повествования об историко-культурных вопросах книгопечатания в Чехии середины XIX в.¹.

Одной из важных сторон духовной жизни любого общества является его самоанализ и самооценка. Причем особо показательным для историков является не та россыпь «нечеленаправленных» мыслей, отдельных штрихов, которая всегда имеется в литературных произведениях разных жанров, а направление в духовных поисках общества, точнее, постоянный мотив, возникающий в публицистике, политической жизни и тому подобном в напряженные моменты общественного развития. В силу полигничности капитализирующегося общества Чехии в 40-е годы XIX в. на передний

¹ Эти вопросы поставлены в содержательной монографии А. С. Мыльникова [8], но как выходящие за ее хронологические рамки, не исследованы.

план здесь вышли проблемы национального характера страны и ее имиджа за рубежом. В не изученном сегодня вопросе образа предмарковской Чехии для современников фокусировались такие принципиальные, глубоко волнующие проблемы, как пути развития духовной культуры этнически неоднородной страны, первые результаты и дальнейшая целесообразность работы деятелей чешской национальной культуры (будителей), соотношение специфики общественной ситуации в Чехии с путями развития Центральной и Западной Европы. За ними следовали размышления об отношении к национально-политической ситуации в Чехии у «заграницы», о поисках союзников в самой Австрийской империи и у общественности других стран Европы.

Эта широкомасштабная дискуссия развернулась и на страницах анонимных политических брошюр об Австрии [11], в изобилии выходивших за границами меттерниховских владений, особенно в Лейпциге, и в целом ряде статей чешских авторов, к которым, из широко известных документов, в первую очередь следует отнести статью Гавличека «Славянин и чех» (1846). Написанная в переломный момент истории Чехии, она постоянно привлекает внимание исследователей. Вот и в новейшей монографии [12] отмечаются некоторые ее характеристики. В свете сказанного о горячих спорах об образе Чехии нам никак не кажется, что свои национально-политические заявления Гавличек делал «уверенным тоном представителя уже утвердившейся нации». Ведь К. Гавличек не ограничился констатацией того, что «славяне состоят из ряда самобытных ... народов. Отечеством для чехов является Чехия, Моравия и Силезия». Буквально далее он заявлял, что и известны они (чехи.— *O. X.*) в мире больше, чем русские или поляки! В контексте споров 40-х годов о национальном характере Чехии, о национальном характере чехов-славян, об их репутации и «общественном ранге» эти слова — род внушения вовне и себе самому. Возможно, и для этнической психологии характерно то, что является законом на уровне формирующейся личности: даже ложный оптимизм лучше, чем низкая самооценка, несовместимая с волевым импульсом к самореализации. Завышенная, на наш взгляд, оценка заявления Гавличека, идущая от некритического принятия точки зрения исторического источника, не представляется случайной. Еще 15 лет назад И. Ю. Смирнов предостерегал от оценки этнического самосознания не по представлениям социального большинства данного этноса, а по декларациям отдельных журналистов или писателей [2, с. 55]. В том же сборнике наблюдаем и другой подход. Так, читаем: «О том, насколько животрепещущей едва ли не для *каждого* чеха была проблема равноправного положения чешской труппы, говорит тот факт, что В. Галек *о имени всей нации* заявлял...» (выделено мной в статье Ю. И. Ритчика.— *O. X.*) [2, с. 143].

Состав участников дискуссии был биэтничным. В ней участвовали своими произведениями и пражские немецкие литераторы (см. М. Гартман. «Чешские элегии» и А. Мейнер, «Ян Жижка»), и немецкие литераторы — выходцы из Чехии, особенно И. Куранда (см. его передовые статьи в журнале «Die Grenzboten» и переписку). Неплохо исследованные в специальной литературе чешско-немецкие дискуссии 1848—1849 гг. (кто коренной народ на территории Богемии, каков психологический портрет чехов в сравнении с местными немцами и т. п.) заслуживают включения в этот предлагаемый нами более широкий исторический контекст. Образ Чехии формировали и такие факторы, как бытование чешских исторических сюжетов в австрийской и германской литературе [13] и споры о праве на «тизель» исторического народа в немецкой революционно-демократической публицистике. Материал этой дискуссии середины, да и всей второй половины XIX в. не вмещается в академические рамки, а явно перекликается с сегодняшними размышлениями по таким проблемам, как целесообразность принятия позиции этнокультурного релятивизма или возможность психологически равноправного диалога между глубоко отличающимися синхронными культурными типами, изживание комплексов культурной неполноценности и культурного превосходства.

Непризнанность чешского национального движения дома и за рубежом

порождала, по мере его внутреннего усиления, демонстративность, точнее, поведенческо-демонстративные, семиотически насыщенные формы. Причем мы не имеем в виду уже часто упоминавшиеся в научной литературе грандиозные манифестации второй половины шестидесятых годов XIX в. Речь идет о микродемонстрациях 40-х годов. Это и пепле чешскими ремесленниками, членами национального кружка, старинных канционалов во время воскресных загородных прогулок [14], и участие горожан в костюмированных Славянских балах, это и подчеркнуто национальные одеяния в зале заседаний Славянского съезда (Прага, июнь 1848 г.), и многое другое.

Интересные факты на этот счет находим в упомянутой выше статье Ю. И. Ритчика «Театральный вопрос в чешском национальном движении в 50-х — начале 60-х годов XIX в.». Рассказывая об акции по сбору средств на строительство национального театра, автор цитирует слова Й. Гавличека-Боровского: «Я заверяю..., что сборы будут успешными, даже если бы для этого мне потребовалось ходить от деревни к деревне и доказывать необходимость и полезность такого рода *национальной манифестации*. Пусть вы приложили все усилия, чтобы вычеркнуть нас из семьи народов, но мы вам *докажем*, что мы в состоянии проделать еще большую работу для того, чтобы остаться тем, чем нас создал бог, — народом самостоятельным, *вам равным*, а не вашими подданными» (выделено мной. — *O. X.*) [2, с. 141]. Яркие примеры национальной символики впольском национально-освободительном движении приводила в том же сборнике Л. А. Обушенкова [2, с. 32, 34]. Разрозненные факты такого рода содержат, используя формулу В. С. Люблинского, «минимальный момент информации», под чем он понимал «привлечение внимания к факту своего существования (выделено мной. — *O. X.*) или принадлежности к определенной категории». Совокупность их наглядно отражает общественные настроения. В революционный год рождалась (и закреплялась на многие последующие) национальная символика (Орлица, Липа); в широких кругах общественности распространялась идеологически и эмоционально, личностно значимая лексика, производящая без учета указанной знаковой ситуации, на современного читателя впечатление «туманной», «расплывчатой» и т. п., но очень много говорившая уму и сердцу участников исторического действия. Наряду с вербально-образной символикой зарождалась символика общественных процессий, группового ритуала.

Совокупность перечисленных культурно-исторических моментов порождала особый исторический тип людей — со своей системой идеологических ценностей, в которой на первый план выходили понятия Родины, нации (этноса), национального языка. Каждое из них имело и консолидирующе-групповой характер определенного масштаба, и характер отталкивания «чужого» ради выявления «своего». Нельзя понять возникновение этноцентристского массового сознания без прослеживания бытия этих понятий на индивидуально-личностном уровне.

В какой же ситуации оказывалась здесь в силу выявленных факторов человеческая личность? Думается, в ситуации выбора, личностного приобщения (или неприобщения) к формирующемуся в рамках капитализирующегося общества Чехии системам культурно-идеологических ценностей, того выбора, за которым следовало вхождение в определенный складывавшийся круг единомышленников, ощущение себя членом группы, а порой и борцом. Национально-этническое становилось одной из главных внутренних ценностей, мировоззренческим стержнем общественно активной личности.

Фактор полизначности общества усложнял выбор личности. Здесь человек выбирал дважды, точнее, вдвое — между пассивностью и «активизмом», с одной стороны, и между ценностями чешского национально-культурного движения или австрийского патриотизма, великогерманской программой либо местным немецко-богемским патриотизмом, с другой стороны. Факты выбора, сознательного действия и приобщения к новым, субъективно, ценностям наполняли жизнь многих внутренним смыслом, сообщали их мыслям и речам о самих себе пафос созидания, более значительного, чем личное, самоутверждения.

Вот почему крупный композитор уже немолодым учится писать на родном языке, которым он владел лишь устно (Б. Сметана). Поэтому Палацкий внушает дочери, что она должна быть «хорошей чешкой». Поэтому Гавличек спонтанно формулирует роковое: «лучше русский кнут, чем немецкая свобода».

Особо сильно должны были ощущать бремя выбора лица еврейского происхождения и потомки национально-смешанных, особенно многочисленных чешско-немецких браков. Приобщение к одному из альтернативных рядов идеологических ценностей сопровождалось целой гаммой эмоций: чувствами как приобретения, так и утраты, ощущениями озарения и, наоборот, непонимания.

Разошелся с прежним товарищеским и вообще жизненным кругом видный сотрудник крупной пражской газеты 1848—1849 гг. «Constitutionnelles Blatt aus Böhmen» Антонин Шпрингер (1825—1890). Федералистически, т. е. «прочешски» настроенный тогда, он позже осуждал чешское национальное движение, за что и был назван исследовавшим в самом конце XIX в. его журналистику Я. Гайдлером «отступником» [15]. Зато почти в тот же год другой чешский автор восторженно оценивал местного немецкого ученого и политика Юлиуса Липперта. (В наших исторических справочниках этого уроженца Праги и (в основном) жителя Чехии, к сожалению, характеризуют лишь как австрийского ученого). Интересно, что автор статьи о Липперте в чешском Энциклопедическом словаре, выражая несогласие с выводами главного сочинения Липперта «Социальная история Чехии», глубоко ценил его как личность: это был «немец, каких сегодня немного среди наших земляков,— чистая душа, открытый человек необычайного благородства», подходящий к национальным отношениям в стране «с возвышенных позиций» [16].

После двух противоположных по тональности оценок-характеристик из чешского лагеря в адрес немецких соотечественников посмотрим на происходившее культурно-этническое размежевание и обнаружившиеся трудности в этнической идентификации глазами немецких источников. Странно как-то, на взгляд пражского немецкого поэта 40-х годов А. Мейснера, вел себя бывший чуть его помоложе писатель Ф. Миковец. Описывая его богатырскую фигуру, Мейснер вспоминал, что внешне Миковец «словно сошел со страниц „Германии“ Тацита. Однако этот древний германец *хотел* (выделено мной.— *O. X.*) — не более не менее — быть чехом. Он работал в области чешской историографии и археологии, собирая всевозможные чешские исторические надписи и вдобавок был сочинителем патриотических драм. Он писал их тайком по-немецки, ведь все его образование было чисто немецким, а затем отдавал переводить на чешский, так как сам был не в состоянии дать корректный перевод» [17]. Иначе относился к феномену «чехизации» людей немецкой культуры другой немецкий мемуарист — З. Майер (1831—1911) из Вены. Его «Воспоминания о жизни» содержат некоторый материал о национально-культурном процессе в Чехии на недостаточно пока изученном личностном уровне. Учась в 50-е годы в Пражском университете, будущий купец увидел в столице Богемии новое для себя резкое разделение общества по национальному признаку. Его поразило (на примере Ригера, Цейтхаммера и др.) явление несовпадения этнического происхождения и — самосознания, национального истока антропонима и — самоидентификации его носителя. По прямолинейному выражению Майера, в Праге «дети многих немцев стали чехами» [18]. Майер писал, что не в состоянии определить, в чем конкретно заключалась привлекательная сила всего чешского для немецкого юношества. Но сама по себе эта таинственная привлекательность была, по его мнению, фактом.

Нельзя сказать, что фактор общественных эмоций остался вне внимания исследователей национально-политических процессов. Так, Л. А. Обушенкова приводила слова польского историка А. Зайончковского о роли совместных эмоциональных переживаний в процессе распространения национального самосознания. Ю. И. Ритчик одобрительно цитировал чешского исследователя Я. Бартолса об «национальном смысле» идеи нацио-

нального театра. Нам бы хотелось обратить внимание на следующее: формирование и распространение в обществе Чехии указанного круга в классово-идеологическом отношении однородных, но этнически разнонаправленных, а в дальнейшем и враждебных представлений и ценностей, утраты чувства естественной и закономерной принадлежности к традиционной территориально-исторической общности создавали для миллионов участников этого исторического процесса поле особого эмоционально-психологического напряжения, а у кого-то рождали чувство совершающей над ними духовно-идеологической манипуляции. Палитра этих морально окрашенных эмоций была велика. Суммируя, их смену в чешском варианте можно назвать путем от неудовлетворенности и стыда к гордости [19]; в случае с чешскими немцами речь шла, вероятно, об обратном. Со временем развитие чешской национальной культуры становилось нравственным вопросом, болевым первом нравственной ауры общества. Довольно наглядно это видно в дискуссиях вокруг RKZ (их морализаторский тон был задан, похоже, сторонниками подлинности рукописей), в популярности у чешских литераторов морализирующих псевдонимов, особенно со словом *pravda* и однокоренных. Немецко-чешский эмоциональный аналог еще предстоит поточнее определить. Но уже сейчас ясно, что все эти общественные эмоции и умонастроения, выявившиеся к середине XIX в., оказывали влияние на большой круг явлений. Например, на процесс воспитания и образования подрастающего поколения. Вначале основными каналами этого влияния были домашние впечатления, молодая национальная литература и патриотические организации (часто «неформальные объединения» — небольшие кружки будителей, «народовцев» (*národnovců*), определенные органы прессы. Затем и школа, театр, живопись, наконец, новые формы общественной жизни — «таборы», другие виды национальных манифестаций, а затем и альтернативные общественно-культурные организации.

Совокупный воспитательно-педагогический процесс в Чешских землях XIX в. характеризовался тенденцией к усилению этнофорности, т. е. парастанию элементов, формирующих этносознательную или даже «этноценностноориентированную» личность, воспитывающих в ней чувство этнической принадлежности, идентификации с той или иной этнической общинностью.

Собственно, сформулированный в последних исследованиях вывод, что этническая принадлежность — не биологическое, не врожденное свойство человека, а культурно-социальное приобретение [20], намечался и в трудах московских славистов. Например, Л. Н. Титова в статье «Из наследия словацкого просветителя Ю. Рибай» писала о «процессе воспитания национального самосознания словацкого народа» (выделено мной. — *O. X.*) [2, с. 155]. Этот вывод очень созвучен и чешскому конкретно-историческому материалу XIX в., подтверждается им. Уже в 40-е годы XIX в. идеологизация этнического подхода вела к появлению определенных общественных требований, определенных ожиданий в отношении отдельной личности, особенно претендующей на национальную ангажированность. Признания своего определенного, в данном случае чешского, этнического происхождения становилось недостаточно. Требовалось личное овладение составляющими национальной культуры: приобретение навыков чтения, письма на национальном языке. Последнее было особенно нелегким делом. Известно, что Б. Сметана (р. 1824) научился хорошо писать по-чешски к 1866 г., т. е. в возрасте «за сорок»; в дальнейшем предавался этому занятию с удовольствием и удовлетворением [21]. Ф. Палацкий (р. 1798) переписывался с братом Ондржеем до 1858 г. по-немецки и лишь с указанного времени — исключительно по-чешски. Столъ же желательным и приветствуемым становился разговорный чешский язык. Так, Кампелик сообщал в 1840 г. Ф. Ригеру о знакомом трактирщике: «...он горячий патриот и охотно говорит по-чешски». Манера же «оставлять» чешский за порогом дома, а на улице, «в обществе», переходить на немецкий подвергалась критике.

Позже появлялась потребность не только в «самопризнании» и «само-

демонстрировании» национального языка, но и в знаках уважения к нему как атрибуту национальности со стороны этноса — соседа. И. А. Богданова в статье «Введение в проблематику становления словацкой национальной культуры» сообщает об обращениях словацких просветителей к правящей нации и правящим классам, которые делались на мало подходившем к ситуации словацкому языку — «ради его национально-репрезентативной функции» [2, с. 69]. Известный радикальный демократ Й. В. Фрич сформулировал пожелание к немецким согражданам учитывать язык своих «контрагентов» и отвечать на языке запроса. Так, 20 марта 1849 г. он писал Академическому сенату Пражского университета от имени Чешско-моравского братства: «...должны заметить, что нам было *больно* (выделено мной). — O. X.) на нашу чешскую просьбу получить немецкий ответ... просим впредь посыпать нам письма на чешском языке» [22]. Когда в австрийском венском парламенте летом 1848 г. возник спор о необходимости и целесообразности переводов с немецкого языка, на котором велись заседания, чешские ораторы подчеркивали, что только добрая воля чешских депутатов в сочетании с высоким представительством интеллигенции в делегации от Богемии ведет к отказу от настаивания на естественном, по их мнению, праве перевода [23]. Точка зрения, общепринятая в наши дни, а тогда заявленная вообще впервые в истории и не нашедшая сходу ни единодушного понимания, ни, естественно, своего материального воплощения. Под влиянием установок, формирующихся в указанном эмоционально-идеологическом поле, происходило разделение по национальному признаку многих явлений культурной жизни страны, которое можно назвать и удвоением, и раздроблением культурно-ассоциативного процесса, характерного для многих буржуазных обществ в стадии становления. Думается, настало время охватить весь реально существовавший культурный процесс в Чешских землях со ставшей свойственной ему тогда организационно-национальной бифуркацией, а в перспективе и — зловещим предвестником драм наших дней — этнической конфронтацией.

На основе изучения очерченных выше проблем можно будет в чем-то по-новому подойти к социально-психологической истории Чехии XIX в.², реконструировать полнее и «реальнее» духовный универсум людей эпохи XIX в. в Чешских землях, проследить нарастание трудностей в осуществлении совместной деятельности людей разной национальности, в этническом сосуществовании в целом, начало этнических миграционных процессов нового времени на территории Цислейтания, особенно в Праге. Будущие ответы на поставленные вопросы дополнят наши представления и об истории собственно чешской нации — социальной общности, возникшей, выделившейся в качестве «второго общества» из состава двунационального населения административных провинций Богемия и Моравия (ср. мысль И. А. Богдановой о маргинальном положении словацкой национальной культуры в конце XVIII — первой половине XIX в. [2, с. 71]), о трудном пути от аккультурации (и даже бикультурализма?) к собственной — но ни в коем случае не замкнутой — национальной культуре, собственной нации, завершением формирования которой является, с нашей точки зрения, не только наличие ряда объективных характеристик, но и определенный успех в борьбе за признание мировым обществом.

Думается, что активизация изучения культуры Чехии представляет не только узко исторический интерес. В СССР сейчас вообще активизировались культурологические исследования, в том числе на материале многонациональных обществ различных советских республик [25]. Необходимо также иметь в виду, что Чешские земли довольно рано, уже в конце XIX в., оказались ареной национально-культурной и национально-политической конфронтации, столь характерной для многих районов мира сегодня. Драмы и трагедии наших сегодняшних соотечественников — жертв национальных конфликтов, беженцев — заставляют пристальнее взглянуть на историю национальных движений, пристрастнее оценить их идеи-

² Недостаточное внимание к социально-психологической тематике выявила XI Всесоюзная конференция историков-славистов [24].

лы, их предложения общественному развитию, особо внимательно присмотреться к тем группам и личностям, которые настаивали на мирном этническом сосуществовании. Поэтому, считаем, необходимо преодолеть методологические ограничения, возникшие под влиянием источниковедческих трудностей и местнопатриотических конструкций, и усилить всестороннее изучение духовной культуры Чехии в XIX в. как важной модели развития полигэтнического общества нового времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Софронова Л. А. Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII—XIX вв. в трудах Института славяноведения и балканстики АН СССР.— Советское славяноведение, 1987, № 4, с. 66.
2. Культура и общество в эпоху становления наций (Центральная и Юго-Восточная Европа в конце XVIII — 70-х годах XIX в.). М., 1974.
3. Klutschak F. Der Führer durch Prag. Prag, 1850, s. 41.
4. Михайлов А. В. Предисловие к кн.: Золотое сочинение. Австрийская поэзия XIX—XX вв. в русских переводах. М., 1988, с. 10.
5. Кандаурова Л. П. Оценка деятельности В. Гаккля в чешской и русской историографии.— В кн.: Проблемы всеобщей истории. М., 1974, с. 134—135.
6. Gutenbergs-Album. Braunschweig — London — Philadelphia, 1840.
7. Титова Л. Н. Чешский театр эпохи национального Возрождения. Конец XVIII — первая половина XIX в. М., 1980, с. 126.
8. Мыльников А. С. Чешская книга: очерки истории. Книга. Культура. Общество. М., 1971, с. 163.
9. Hoffmann A. Die Prager Zeitschrift «Ost und West». Berlin, 1957.
10. Steiner H. Karl Marx in Wien. Die Arbeiterbewegung zwischen Revolution und Restaurierung 1848. Wien — München — Zürich, 1978.
11. Prag und die Prager. Aus den Papieren der Lebendig-Todten. Leipzig, 1844.
12. Чешская нация на заключительном этапе формирования. 1850 — начало 70-х годов XIX в. М., 1989, с. 81.
13. Kraus A. Stará historie česká v německé literatuře. Praha, 1902.
14. ЦПА ИМЛ, ф. 219, д. 928.
15. Heidler J. Ant. Springer a česká politika v letech 1848—1850. Praha, 1914.
16. Ottův slovník naučný. Praha, д. XVI, 1900, с. 78.
17. Meiβner A. Geschichte meines Lebens. Bd. II. Wien, 1884, S. 10.
18. Mayer S. Ein jüdischer Kaufmann 1831 bis 1911. Lebenserinnerungen. Leipzig, 1911. S. 154.
19. Gedichte aus Böhmens Vorzeit. Prag, 1845, S. IV.
20. Человек в системе наук. М., 1989.
21. Гулинская З. Б. Сметана. М., 1959, с. 111.
22. Frič J. V. v dopisech a denicích. Praha, 1955, s. 18.
23. Verhandlungen des österreichischen Reichstages nach der stenographischen Aufnahme. Bd. I. Wien, 1848, S. 1, 4, 10, 12.
24. Советское славяноведение, 1988, № 4, с. 71.
25. Любя И. Осознаем ли мы национальную культуру как целостность? — Коммунист, 1988, № 18, с. 51—60.



ПЕТРОВА Л. Я.

К ВОПРОСУ О ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОМ ПЕРЕВОДЕ СЛОВ ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА

Сборник XIII Слов Григория Богослова (рукопись хранится в ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина под шифром Q. п. 1.16) — древнейший (XI в.) список славянского перевода проповедей известного ранневизантийского писателя Григория Назианзина, выполненного в кирилло-мифодиевскую эпоху. Остальные списки относятся к XIV—XVII вв. По мнению исследователей, некоторые из них (например, Син. 954, Тр.-Серг. 8) содержат Слова в столь же древнем переводе, а отдельные проповеди — в том же, что и в рукописи XI в. [1, с. 74; 2]. Как указывали А. Х. Востоков и В. И. Ламанский, отрывки из именно этого перевода творений Григория Богослова находятся в Изборнике 1073 г. [3; 4]. В списках XIV—XVII вв. представлены новые редакции Слов — как болгарская, так и сербская¹.

Вопрос о принадлежности древнейшего славянского перевода проповедей Григория Богослова той или иной переводческой школе еще не решен окончательно.

Полагают, что этот перевод был выполнен в первой половине X в. учениками Кирилла и Мефодия в Восточной Болгарии [6]. Рассматривая переводческую деятельность того времени, исследователи обычно в кругу памятников восточноболгарского происхождения называют и сборник XI в. А. Х. Востокова, отметив тождественность славянских переводов некоторых греческих слов из сферы христианской терминологии в рукописи Q. п. 1.16 и Феодоритовой псалтыри, предположил, что перевод гомилий и текста псалтыри принадлежит одному человеку [7].

А. С. Будилович, исследовавший список XI в., считал, что переводчиком всех гомилий был один человек, хотя отмечал «большую неопределенность и шаткость» в переводе, которая особенно заметна «при сравнении нескольких переводов одного и того же греческого текста» [8]. Подобное замечание находим у А. Горского о рукописях XIV в., однако он допускал и «участие многих лиц в переводе» [1, с. 82].

Это предположение основано на беглом сравнении повторяющихся отрывков из Слова на Рождество Христово (СР) в Слове на Пасху (СП). Под повторяющимися отрывками подразумеваются фрагменты перевода одного и того же греческого текста, который представлен и в СР, и в СП: первый отрывок занимает столбцы на лл. 151а—157в (СР) // 327в — 335б

Петрова Лидия Яковлевна — канд. филол. наук, сотрудник филологического факультета Сыктывкарского педагогического института.

¹ Обычно все известные нам сборники Григориевых гомилий распределяют по трем редакциям: старшей, представленной в XIII Словах Григория Богослова, более поздней (но не моложе XIII в.) — в сборниках проповедей Григория с толкованиями Никиты Ираклийского; третью редакцию часто называют сербской и включают в нее сборники Слов как с толкованиями Никиты Ираклийского, так и без них. См. обобщение взглядов на историю славянских переводов присведений Григория Богослова в книге Д. М. Буланина [5]; здесь же приведена литература предмета.

(СП); второй отрывок — столбцы на лл. 157в — 159г (СР) // 352а — 353в (СП). Для рукописей XIV в. отмечен еще один повторяющийся отрывок — из Слова на память Афанасия Александрийского в надгробном Слове Василию Великому.

Различия в переводе повторяющихся отрывков, на которые указывают исследователи, и разная их интерпретация в связи с вопросом о древнем переводе Слов Григория Богослова заставляют обратить более пристальное внимание на эти повторяющиеся отрывки, так как не исключена и другая точка зрения относительно места и времени возникновения древнейшего славянского перевода произведений Григория.

Между предполагаемым временем выполнения перевода Слов и временем создания рассматриваемого списка лежит период более чем в сто лет. За этот период могли быть выполнены не один, а два перевода, для нас однаково древние, которые затем (при переписке с разных протографов) оказались в одной рукописи.

Графико-орфографо-фонетический и палеографический анализ рукописи поддерживает предположение о двух славянских протографах. В данном случае не важно, где произошло объединение в одну рукопись разных протографов — в Болгарии или уже на Руси. Вопрос состоит в том, содержали ли они сами по себе разные переводы.

Общеизвестно, что просветительскую деятельность болунских братьев в Болгарии продолжали две переводческие школы — македонская, или охридская, в Западной Болгарии и восточноболгарская, или преславская. Известно также, что многие переводы охридской школы редактировались в восточной Болгарии одновременно с выполнением там новых.

С. М. Кульбакин, изучая древнеславянские переводы гомилий, указал, что некоторые из них переводились в Македонии, а затем редактировались в Восточной Болгарии. Обращаясь к переводу Слов Григория Богослова, исследователь сослался на замечание Ван Вейка о том, что, несмотря на сходство языка гомилий Григория Богослова с языком Чудовской псалтыри и других восточноболгарских текстов Библии, в них находятся реминисценции из старейшей эпохи развития старославянского языка [9, с. 24—25]. Охарактеризовав каждую гомилию с точки зрения морфологии и лексики, Кульбакин пришел к выводу, что русская рукопись XI в. представляет собой сборник различных по древности переводов: в IV и X Словах, по его мнению, сохранен старый (македонский) перевод, во всех остальных Словах наличие архаических элементов он объяснил как следы македонской переводческой школы или как влияние кирилло-методиевской литературной традиции, подчеркнув, что последняя редакция этих проповедей, представленная в списке, является преславской [9, с. 37—38]. Так, рассмотрев СР, исследователь увидел в нем более старый перевод, где нет типичных выражений Симеоновской эпохи, а отдельные инновации, очевидно, вошли в текст при позднейшей переписке, но никак не являются результатом редактирования в духе преславской школы; о переводе XI гомилии (СП), где довольно редки морфологические и лексические архаизмы, он не сделал определенных выводов [9, с. 29—30, 34—35]. Говоря о различных по древности переводах и четко определяя македонский перевод, С. М. Кульбакин склонен думать, что в других Словах существует не столько *новый* перевод преславской школы, сколько *редакция* древнего (охридского) перевода.

Допускает существование двух древних славянских переводов Слов Григория Богослова и болгарская исследовательница Е. Коцева, полагая, что повторяющиеся отрывки даны в различных переводах и что «повторение отдельных пассажей в различной стилистической обработке подтверждает постепенное комплектование, собирание в одну книгу переведенных Слов», которое окончательно завершилось еще в болгарской среде [10].

Таким образом, существуют две точки зрения на характер древнейшего славянского списка XIII Слов Григория Богослова. Ниже мы попытаемся обосновать ту точку зрения, согласно которой в списке объединены два древнеславянских перевода различного происхождения, путем выявления

и анализа лексических вариантов из повторяющихся отрывков в СР и СП. В качестве дополнительного материала привлекаются рукописи XIV—XV вв., которые содержат иное количество (почти во всех списках 16) и иной набор проповедей в разных переводах (болгарском: Син. 954, Син. 43, Тр.-Серг. 8; сербском: Рум. 85, Рум. 86, Г. 890, Пог. 989).

Допускается возможное варьирование языковых средств и в греческих списках Слов Григория Богослова, мы все же исходим из мнения А. Горского о том, что в повторяющихся отрывках «нет такого сходства между переводами, как на греческом» [1, с. 82]. Кроме того, не следует забывать, что рукопись XI в.— не оригинал перевода, что при редактировании или просто переписке могли быть проведены замены архаических форм и слов на формы, современные переписчику, могли отразиться диалектные лексические особенности. Необходимо учитывать и то, что лексическое варьирование было характерно уже и для языка первых славянских переводов, следовательно, объясняется не только как результат вторичных преобразований переводного текста.

Итак, обратимся к рассмотрению лексических вариантов (ЛВ) в повторяющихся отрывках из СР и СП.

Под ЛВ мы понимаем два слова (или более), соответствующие друг другу в одинаковых контекстах. Материал рукописи позволил выявить большое количество вариантов единиц среди слов разных частей речи — как разнокорневых, так и слов, различающихся словообразовательными аффиксами; имеется также немало пар, компоненты которых различаются принадлежностью к разным частям речи.

Самая многочисленная группа — это ЛВ, являющиеся разнокорневыми образованиями (около 170 пар): азыкъ 156б — страна 333г, оумъ 155в — чръкъ 332г, миръ 153в — тъара 330г, глаголъта 157б — девеластко 334г, пъчина 151а — море 327г, пица 155в — тадъ 333а, малъ 157г. — мани 352б, зълъ 354в — ажкало 159г, сълѣти 151г — дравскати 328в, казнѣти 158а — прикѣти 352в, послание 158г — пущене 353в, сълѣти 155в — поуѣти 332г и др. Как видим, в СР встретилась и лексика, диагностирующая более древний перевод. Так, многие из приведенных слов характеризуют язык кирилло-мефодиевских переводов и близких им в лексическом отношении переводов охридской школы. Десемантизированная лексика максимально усиливает противопоставление двух переводов: в СП предпочтается послелог дѣла более древнему ради (наряду с ним в СР употреблен и предлог за, вступающий в вариантные отношения с дѣла), например: сего ли ради малъ змие за та съмѣренъ 157г — сего ли дѣла мани тако тезе дѣла съмѣрица 352б.

Сравнение минимальных контекстов позволяет судить о размерах варьирования и свидетельствует о том, что выбор той или иной лексемы сопровождается лингвистическим «конвоем»: иначе етеръ съкесѣдъ предже ни 152г — иномѹ иѣкоемѹ прѣкъ нами прѣмѣжарица 329г; тѣбоуєтъ крамчина на лѣжаша неджы 156в — тѣбооклаше лѣковчина на вѣданыя аза 333г.

Среди разнокорневых ЛВ в СР встретились непереведенные слова: лениче 158б, иоуден 159в, икона 156г, лѣръ 156б (в СП соответственно: понавъ 352г, жидовъ 354а, окрѣзъ 334б, каздоухъ 333г). Подобное наблюдается и в следующих случаях: въ акрѣвасгии 159г — съ коначиною платижъ 354з; идоломоуженъ 156в — коумиромъ жареніе 334а. Употребление непереведенной лексики также свидетельствует о большей древности перевода СР.

В СР хироৎ переведено как вѣрма, а в СП годъ; хроѹс же последовательно переводится как лѣто (СР) и вѣрма (СП). Та же последовательность характерна и для фотис — естасѣко (СР) и кѣцъ (СП): стъ касакы съѣсти отпадающи и лѣтъ и естасѣко и сумѣма такжо 151б // — каса прѣхода

разоумъ и вѣтъни и вѣти съмъгъ тгачъ 327г; мнитъ проста бытоу сѣтъстка 151г // — разоумъметъ еже несложено вѣтихъ съца 328в.

В СР отмечены случаи, когда, используя многозначность славянского слова, переводчик отдает предпочтение какому-то одному; так, кидніе (155в, 153б, 151б) вступает в варьирование со словами разоумъ (332г), освѣщениe (330б), мачагъ (328а); бесѣдокати (154а, 153в, 152б, 151а, 151г) — со гъказати (331б, 327г), прииѣштиса (328в), прѣмѣдрити (329б, 330г). Сравнение показывает, что относительно поздний переводчик стремится конкретизировать значение слова, отходит от синкетизма древней лексемы, перерабатывает контекст для удобства восприятия его современниками. Однако второй перевод, хотя он и появился позднее того, что выполнен в Македонии, также является древним, и в нем также встречаются слова-синкеты, например, СП хусанти (353а, 353а) в СР соответствуют слова оклекетати (158в) и зазарти (158в).

Среди однокоренных вариантов, различающихся словообразовательными элементами (около 60 пар), имеются разные суффиксальные образования: стоудъ 156а — стыднѣсъ 333б, пастыръ 157а — пастжъ 352б, накельни 153а — накельски 330а. В СР предпочтительнее образования с суффиксом -асъкъ: чакомюбъстко 333б, бесъмургъстко 334б, величъстко 331б, 332а (в первом переводе соответственно: чакомъбъсъ 156а, бесъмургъсъ 156г, величъсъ 154а, 154г). В СР наблюдается, как и для первой группы ЛВ, склонность переводчика употреблять одно слово-синкету, например, свѣтлостъ (в СИ оно варьирует со словами свѣтъ, освѣщениe, свѣтило): стѣкорены выша свѣтлости категория слугиствата практикъ свѣтлости 153а — стѣориша свѣтила категория слѹгъ паркааго свѣтла 330а.

Факты, диагностирующие разные переводы, можно обнаружить и среди глагольной лексики, где варианты различаются или приставками, или отсутствием приставки в одном из членов оппозиции: вѣзести 152а — вѣзести 329в, поискати 158а — вѣзискати 352в, вѣти — приемѣти, вѣдти — дати.

Особую группу составляют ЛВ, принадлежащие к разным частям речи (более 50 пар). Здесь различаются однокоренные образования и разнокорневые, связанные семантически, а также пары, состоящие из слова и словосочетания: когордника 155в — сѫженигъ бѣжинъ 332г, прѣстѣпѣлтие 156в — прѣстѣпѣлтие клатѣлка 334а, подсвати 152а, 157а — мѣпо быти 329г, 334в.

Для СР характерны варианты, представляющие глагольно-именные словосочетания, в СИ им соответствуют глаголы: приати чѣсть (бѣфьстие, разлѣчениe, сѫмѣщениe) 159б — чѣтиги (сѹкоигти, разлоучати, гѣзкоуплати)са 353г. В подобные вариантные отношения вступают причастия с глаголами: дивимо юеста 152в — юдити са 328б, сѫжени бѣдемъ 152в — отглаждени са 329в и др. (всего 18 пар). Явления, подобные уже отмеченным, можно обнаружить и в следующих контекстах: се ли поимѣши боу благовѣніе 157г — се ли поимѣши твориши вѣю благодѣнію 352в; се илжими сѹмъ вѣшишисъ 157в — се г҃амѣллациими вѣшишисъ 335б.

Как видим, характеристика ЛВ с точки зрения частей речи также противопоставляет два перевода Слов Григория Богослова.

Таким образом, не очень большие по объему (всего 9 параграфов, или около 17 листов рукописи) повторяющиеся отрывки дают большое количество разночтений. Если учитывать еще и морфологические и фонетические варианты, которых в списке XI в. тоже немало, то общие для обоих списков элементы составят очень незначительную долю текста — около 200 пар, т. е. приблизительно 30 % текста.

Обилие ЛВ в памятниках переводной письменности объясняется их многообразием в древнеславянском литературно-письменном языке и диалектными различиями в словарном составе славянских языков того времени.

Но материал рукописи XIII Слов Григория Богослова позволяет сделать и вывод о том, что мы имеем два перевода одного текста. Мы полагаем, что перед нами переводы разных школ: в СР более древний перевод, как считал С. М. Кульбакин, македонский, выполненный, вероятно, непосредственными учениками солунских братьев. Несмотря на отражение новых явлений, что можно объяснить как результат переписывания памятника, здесь отмечается немало архаических черт как в морфологии, так и в лексике; так, в приведенном ниже отрывке в СР встречаются формы архаического сегментического аориста, более древние формы причастий прошедшего времени: и аще малъма выше начахъ сице желаний и слюбесі ноуждашемъ 154 — аще и мало свыше начахъ тако слюбу и любви понаждиашемъ 331б.

В СР отражается скорее всего не редактирование, а новый перевод, возможно, преславской школы; архаизмы — их не так уж много — можно объяснить следованием кирилло-мефодиевской литературной традиции.

В исследуемой рукописи настолько тесно переплетены южнославянская и древнерусская речевые стихии, что говорить о существовании рядом с южнославянским переводом русского, столь же древнего (может быть, выполненного в течение XI в.), без более глубокого анализа языка памятника пока нельзя, хотя вероятность нового перевода Слов Григория Богослова не исключена, так как в XI в. именно на Руси были переведены толкования Никиты Ираклийского на творения Богослова [12]. Рукописи XIV—XV вв.— как южнославянские, так и русского извода — имеют толкования. Однако сравнение их языка с языком Слов показывает, как отмечает Е. Коцева, что толкования переводились позднее и независимо от перевода гомилий [10].

Материал рукописей XIV—XV вв. позволяет еще раз подтвердить, что в СР и СП содержатся разные переводы:

А) Q.п.1.16: сихъ ради составенъ бысть миръ 153б —
сего дѣла бысть тварь 330в.

Син. 954: сего ради состави сѧ сугтварь л.6 —
сего дѣла бы^{тъ} тварь л.55об.

Тр.-Серг. 8: сего ради состави сѧ сугтварь л.9об.—
сего дѣла и бысть тварь л.99.

Рум. 85: си^{тъ} ради состави сѧ мира л.296об.—
си^{тъ} ради состави сѧ мира л.31об.

F. 890: си^{тъ} ради состави^{тъ} миръ л.214а —
си^{тъ} ради состави^{тъ} миръ л.276.

Пог. 989: сихъ ради состависе миръ л.93 —
си^{тъ} ради состависа миръ л.6.

Б) Q.п.1.16: зане къ блажащому приде пастыря добръи 157г —
тако къ прѣлащащому сѧ приде пастухъ добръи 352б.

Син. 954: иже по заблужашю приде пастухъ добръи л.10 —
тако къ прѣлащащему пасту^{тъ} приде добръи л.44.

Тр.-Серг. 8: иже по заблужашю приде пастухъ добръи л.14 —
тако къ прѣлащащему пастухъ приде л.130об.

Рум. 85: зане къ заблуождѣному приде пастыря добръи л.299об.—
зане за прѣлащащему приде пастыря добръи л.106.

F. 890: зане къ заблуждѣному прииде пастыря добръи л.216 —
зане за прѣлащащему прииде пастыря добръи л.82об.

Пог. 989: зане къ заблуждѣному прииде пастыря добръи л.97 —
зане за прѣлащащему прииде пастыря добръи л.24об.

Сравнение даже небольших контекстов показывает, что, несмотря на редактирование, которое проводилось в период с XI по XV в., почти во всех списках прослеживается древняя лексическая канва в СР. СП меньше подверглось правке. К тому же, нередко встречается некоторая ориентация редакторов на текст СП. Вероятно, это можно принять за свидетель-

ство того, что СР в более древнем переводе к периоду XIV в. воспринималось читателями с трудом, и редакторы путем замен и правки стремились сделать текст СР более понятным современникам. СР же по своему лексическому выражению было ближе читателям в той среде, в которой Слова Григория Богослова были в обращении, поэтому замены произошли не значительные, и они скорее появились при переписке, а не как следы редактирования.

В рукописях XV в. сербской редакции мы встречаем перевод, который стоит значительно ближе к СР.

Углубленный сравнительный анализ лексики повторяющихся отрывков по всем рукописям произведений Григория Богослова, дошедшим до нас от XIV—XV вв. (рукописи XVI—XVII вв.—это чаще всего копии со списков XIV—XV вв.), а также текстологический анализ списков позволяют более точно определить ту рукопись, которая максимально приближается к списку XI в. по качеству древнего перевода и его сохранности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горский А., Невоструев К. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки, отд. I—III. М., 1855—1917.
2. Голубинский Е. Е. История русской церкви. Т. I. М., 1880—1881, с. 890—891.
3. Переписка А. Х. Востокова в современном порядке с объяснительными примечаниями И. Срезневского. СПб., 1873, с. 142.
4. Ламанский В. И. О некоторых славянских рукописях в Белграде, Загребе и Вене. СПб., 1865, с. 70.
5. Буланин Д. М. Переводы и послания Максима Грека. М., 1983, с. 33—36.
6. Библиотека Московской Синодальной типографии. Ч. 1, вып. III. М., 1901, с. XIII.
7. Востоков А. Х. Описание русских и славянских рукописей Румянцевского музея. СПб., 1842, с. 334.
8. Будилович А. С. Исследование языка древнеславянского перевода XIII Слов Григория Богослова. СПб., 1871, с. 28.
9. Кулбакин Ст. Лексика старославянских превода хомилија.—Глас Српске Краљевске Академије, разр. II, 92. Београд, 1940.
10. Коцева Е. Най-ранният кирилски препис от Слова на Григорий Богослов.—В кн.: Българско-съветски сборник в чест на проф. И. Дуйчев. София, 1979, с. 246.
11. Лихачев Д. С. Культура Руси времен Андрея Рублева и Епифания Премудрого (конец XIV — начало XV в.). М.—Л., 1962, с. 33.



МОЛОШНАЯ Т. Н.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ КОСВЕННЫХ НАКЛОНЕНИЙ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Как известно, во всех славянских языках грамматическая категория наклонения имеет категориальные формы прямого и косвенных наклонений¹. И по значению, и по морфологическому строению эти формы находятся в асимметричных отношениях. Косвенные наклонения указывают на то, что действия в действительности нет, но что оно или должно произойти, или могло бы произойти при известных условиях, т. е. косвенные наклонения сигнализируют нереальность действия. Между тем в индикативе нет эксплицитных указаний на реальность или нереальность действия, поэтому индикатив может выражать наряду с действиями, представленными как реальные, действия, представленные как возможные или невозможные. Это немаркированный член оппозиции, сигнализирующий лишь отсутствие признака, характерного для косвенных наклонений. С морфологической точки зрения косвенным наклонениям свойственны определенные формальные показатели, например, в русском языке специальные аффиксы для форм императива, частица *бы* для форм сослагательного наклонения (СН). В индикативе же его категориальное значение выявляется не самостоятельно, а в формах категории времени.

Однако дихотомического деления наклонений на косвенные и прямое недостаточно для характеристики всей системы наклонений. Необходимо ввести еще один дифференциальный грамматико-семантический признак. Разные косвенные наклонения по-разному выражают нереальность действия. Так, призывающая модальность императива, заключающаяся в непосредственном волеизъявлении с целью побудить слушателя или собеседника к определенному действию, предполагает обязательное наличие двух лиц, участвующих в речевом акте, который является в таком случае ситуацией императивного обращения. Этими лицами являются только 1-ое и 2-ое; 3-ье лицо исключается из семантики императивной формы. Вводя, таким образом, второй признак «ограниченность действия рамками 1-го и 2-го лиц» для противопоставления разных членов категории наклонения, можно представить систему наклонения (в русском языке) по следующей предложенной А. В. Исаченко схеме [4, с. 454].

Для языков, в которых косвенных наклонений больше, чем в русском, например, для болгарского, где можно различать еще, по крайней мере, одно наклонение — умозаключительное, приведенная схема должна быть усложнена, но дифференциальный признак «ограниченность действия рамками 1-го и 2-го лиц» остается необходимым для выявления императива, который имеется во всех славянских языках. К императиву, кроме форм 2 л. обоих чисел, относится также форма 1 л. мн. ч. (*напишем — напишите*), называемая обычно формой совместного действия; в ней побуж-

Молошная Татьяна Николаевна — канд. филол. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

¹ О пяти типах грамматической категории, категориальной форме, аналитической формы см. [1, с. 8—10, 62—85; 2, с. 28—35; 3].

Нереальность действия	Ограниченностя действия рамками 1-го и 2-го лиц	
	Выражена	Не выражена
Выражена	императив (на)пиши! (на)пишите! (на)пишем!	сослагательное наклонение я бы (на)писал ты бы (на)писал он бы (на)писал и т. д.
Не выражена		индикатив я (на)пишу ты (на)пишешь он (на)пишет и т. д.

дение адресуется и к собеседнику / собеседникам и одновременно к говорящему: в действии, к которому А призывает собеседника В, примет участие и сам А: *напишем!* (ты + я), *напишемте* (вы + я). Обычная форма 1 л. мн. ч. (мы) *напишем* собеседника не включает.

Надо сказать, что в языкоznании до сих пор нет единого мнения относительно состава и строения парадигмы императива. Всеми лингвистами признается, что формы 2 л. являются для императива центральными. Что касается форм 3 л., то большинство русистов, на труды которых я опираюсь (В. В. Виноградов, П. С. Кузнецов, А. В. Исаченко, Р. О. Якобсон, А. В. Бондарко и др.) [5—9], не считают их собственно императивными, потому что они выражают не императивное значение в строгом смысле, а пожелание или приказ говорящего, чтобы кто-то третий (не адресат сообщения) выполнил некоторое действие. Форма 1 л. ед. ч. может иметь побудительную семантику, но никто, кроме Н. С. Трубецкого, не признавал ее императивной формально [10]. В последнее время к точке зрения Трубецкого присоединились В. Лефельдт [11], А. Г. Золодин и В. С. Храковский, включающие в парадигму императива и формы 3 л. и форму 1 л. ед. ч. типа *дай/давай спою, дай/давайте спою* [12, с. 67].

Как уже говорилось, в данной статье принимается, что императив обозначает действие, ограниченное рамками только 2 л. ед. и мн. ч. и 1 л. мн. ч. При этом императив, в отличие от других наклонений, характеризуется отсутствием подлежащего — представление о лице обязательно заключается в самой форме глагола.

Во всех славянских языках имеются простые, синтетические формы (СФ) императива: рус. *иди, идите, идем(te)*; с.-х. *чуј, чујте, чујмо*; чеш. *jdi, jděte, jděte*; пол. *nies, niescie, niesły*; бол. *пиши, пишете*; мак. *носи, носете*. В болгарском и македонском языках нет СФ совместного действия, этим данные языки отличаются от других славянских. А в серболужицких языках парадигма синтетического императива шире — за счет двойственного числа: *rij* (2 л. ед.), *rijće* (2 л. мн.), *rijtaj* (2 л. дв.), *rijtu* (1 л. мн.), *rijtoj* (1 л. дв.) [13—15].

Достаточно часто в лингвистической литературе встречаются утверждения о существовании, кроме синтетических, также и аналитических форм (АФ) императива. Имеются в виду сочетания глагольных форм с различными модальными побудительными, запретительными и др. частицами. Так, в русском языке АФ нередко объявляются сочетания частицы *пусть/пускай* с формами наст. или буд. вр. (*пусть / пускай идет, пусть/пускай придут*), частицы *давай/давайте* с инфинитивом или 1 л. мн. ч. буд. вр. (*давай/давайте писать, давай/давайте напишем*), частицы *да* с формами наст. вр. (*да здравствует*), междометия *айды/айдате* с инфинитивом или с 1 л. мн. ч. буд. вр. (*айды гулять, айда погуляем*). В чешском языке в качестве аналитического императива рассматриваются следующие сочетания слов: частицы *at'*, *necht'*, *kž* и личн. формы наст. вр. (*at' r̄ijde, necht' jede kž se objeví*), частицы *bodej, bodejt', bodejž* и причастие на -l (*Bodej mi oči vytékly!*). В польском к АФ относят сочетания частицы *niech/*

niechaj/niechže с личн. формами наст. или простого буд. вр. (*niech wejdzie, niechaj biorę, niechže wróci*), сочетания частицы *byle* с формой прош. вр. на *-l* или с инфинитивом (*byle wrócił, byle dojechać*). В сербохорватском языке параллельно с СФ императива функционируют сочетания частиц *да* и *нека* с наст. вр. (*да идем, нека бежи*); частица *хајде/хајдете/хајдемо* при синтетическом императиве усиливает его значение (*Хајде, изићи овамо*). Многие грамматисты считают, что в болгарском языке для всех лиц и чисел возможны АФ императива с частицами *да* и *нека* (*Да мълча!; Да си върши!*; *Да тръгне!*; *Да мълчат!*; *Нека отида!*; *Нека те изпъди!*; *Нека мълчите!*; *Нека мълчат!*) [16, с. 231–234; 17, с. 367–368; 18, с. 91–98]. Некоторые другие авторы, например, Ю. С. Маслов, не признают в болгарском языке апаплитического императива с указанными частицами. Ю. С. Маслов рассматривает конструкции с *да* в качестве конъюнктива, о чем пойдет речь дальше [19, с. 286–288]. Кроме *да* и *нека* в болгарском языке имеется целый ряд других побудительных частиц, служащих для усиления императивной семантики: *а, дано, де, я, ха, хайде* (например, *De не плачи!*). В болгарском языке существует также некоторая императивная синтаксическая модель, отличающая его от западнославянских — беспаузовое следование двух синтетических императивных форм, из которых первая представлена глаголом движения (*ела си вземи, иди виж*). В польском и чешском языках в подобных императивных конструкциях вторая форма бывает выражена инфинитивом (пол. *chodź to zrobić*, чеш. *jdi se pobavit*). В русском языке так же, как в болгарском, возможно сочетание двух синтетических императивов, если первый из них является глаголом движения (*иди зови, беги догоняй*).

В сербохорватском, болгарском и македонском языках имеются составные конструкции, выражающие отрицательное императивное значение — запрет производить действие: с.-х. *немој/немојте/немојмо* + инфинитив или *да-сочетание* (*Немојте плакати; Немој да се срамиш!*); бол. *недей/недейте* + «сокращенный инфинитив» или *да* с личн. формой наст. вр. (*Недей писа!*; *Недей да пишеш!*); мак. *немој/немојте* + *да* + наст. вр. (*Немој да одиш!*; *Немојте да одите!*). Естественно, во всех этих языках есть и синтетическая отрицательная форма императива: с.-х. *не иди, бол. не чети, мак. не кажи*. В болгарском языке отмечаются также сочетания, выражающие требование прекратить или не возобновлять действие, состоящие из частицы *стига* и личн. формы перфекта несов. в. или аориста несов. в. знаменательного глагола: *стига си писал* или *стига писа* (2 л. ед. ч.), *стига сте писали* или *стига писахте* (2 л. мн. ч.). Такие конструкции возможны и с формами других лиц.

Как показало подробное рассмотрение перечисленных глагольных императивных словосочетаний в разных славянских языках [20; 21], значительная их часть довольно частотна, лишь некоторые изолированы, например, *да* + наст вр. в русском языке. В их состав входят глагольные формы всех лиц и чисел, в частности, 3 л. ед. и мн. ч. и 1 л. ед. ч., которые, как утверждают наиболее авторитетные грамматисты, не могут быть включены в парадигму императива. Следовательно, уже по этой причине такие словосочетания нельзя признать АФ императива. В большинстве глагольных сочетаний с частицами, кроме категориального императивного значения, отмечается разного рода дополнительная семантика, что связано с неполнотой грамматикализации частиц, с неполным их превращением в служебные слова. Степень сохранения лексического значения у разных частиц разная. Наиболее «пустыми», грамматикализованными представляются болгарские частицы *да, нека, недей/недейте*. В соответствии с разной степенью сохранения собственного лексического значения частиц в составе глагольных императивных словосочетаний отмечается разная степень близости этих словосочетаний к грамматическим формам императива. Одни из них представляют собой свободные синтаксические сочетания слов, самостоятельно функционирующие в семантическом поле императивности, таковы, например, сочетания с частицами *айда, хајде, хајде* в русском, болгарском, македонском и сербохорватском языках. Другие находятся ближе к АФ императива, хотя и не превратились в них

полностью, например, сочетания с *давай/давайте* в русском языке. Это так называемые аналитические конструкции. Третий, например, бол. *да и нека* с формами 2 л. ед. и мн. ч. и 1 л. мн. ч., а также *недей/недейте* с «сокращенным инфинитивом» наиболее близки к положению АФ, наиболее втянуты в императивную парадигму — в один ряд с СФ, особенно благодаря отсутствию в этом языке СФ для 1 л. мн. ч.

Во всех славянских языках известно употребление императива не в его категориальном значении. Это явление так называемой транспозиции, например, СФ могут использоваться в сложных предложениях вместо форм СН или изъяв. наклонения в сочетании с условным или уступительным союзом. Такой вид транспозиции особенно характерен для восточнославянских языков: рус. *Случись тут волку быть, овца пропала бы;* *А попроси он взаймы, она станет плакать.* Подобная модальная транспозиция возможна, хотя и сравнительно редко, также в других славянских языках (ср. бол. *Сечи, коли — кръв не пуща*). Болгарская конструкция, составленная двумя СФ императива, может выражать не побуждение к действию, а убеждение говорящего в невозможности его совершения: *Иди го накарай, ти го знаеш, как е глупава* ‘Попробуй накажи его, знаешь, как она глупа’. То же относится к конструкции из двух императивов с союзами *че и та*: *Иди че я разбери!* ‘Пойди пойми ее’; *При такава богата и съблазнителна обява, иди та устой на увлечението* ‘При такой богатой и соблазнительной рекламе попробуй устоять перед искушением’. В этих предложениях говорящий считает действия, названные вторыми глаголами, невозможными. Появление такого дополнительного значения у СФ императива характерно в первую очередь для болгарского языка и отличает его от других славянских. К. Попов называет подобный транспонированный императив повествовательным. Он считает, что модальное значение императива здесь ослаблено и преобразовано, а 2-ое лицо обобщено до такой степени, что естественно позволяет использовать эту форму в повествовании вместо изъяв. наклонения, причем такая повествовательность повышает экспрессивную силу речи. Это оригинальное грамматическое и стилистическое явление болгарского языка [22]. Другое значение имеет транспонированный императив в случаях употребления отрицательной СФ от глаголов сов. в. в составе той же конструкции из двух синтетических императивов, соединенных союзами *че и та*: *Иди че му не помогни!* ‘Можешь ли не помочь ему = ‘Требуется ему помочь’. Здесь отрицательная императивная форма выражает чё запрет, а убеждение в обязательности реализации действия, т. е. здесь нет не только прохабитивной, но и вообще императивной семантики [23]. То же можно сказать об отрицательной АФ императива с частицей *да*. Она выражает удивление говорящего, что действие, которое должно было совершиться еще в прошлом, до сих пор не совершилось: *И ти с тази глава да не стенеш досега министър!* ‘И с такой головой ты до сих пор не стал министром!’ Болгарский транспонированный отрицательный императив характерен для разговорной речи, он часто обнаруживается в восклицательных предложениях. Впрочем, такая стилистическая принадлежность транспонированного императива известна во всем славянском мире [24, с. 53—69].

Если императив в славянских языках выражается в основном синтетически и аналитическими его формами можно назвать, и то с большой степенью осторожности, лишь болгарские сочетания частиц *да и нека* со 2 л. ед. и мн. ч. и 1 л. мн. ч. наст. вр. и *недей/недейте* с «сокращенным инфинитивом», то в СН² всех славянских языков АФ бесспорно существуют. Точнее — в большинстве славянских языков СН выражается только с помощью АФ.

Во всех рассматриваемых языках основным компонентом АФ СН является глагольная форма на *-л/-л* (по происхождению — причастие): рус.

² Из разных названий этого косвенного наклонения («условное», «потенциальное», «желательное» и проч.) предпочтительным представляется термин «сослагательное». Преимуществом этого термина является его отвлеченность: он не описывает значение данной формы, а лишь условно ее называет.

сказал бы, чеш. *přinesl bych*, пол. *chodzić bym*, бол. *бих казал*, мак. *би дошол*, с.-х. *бих слушао*. В русском и македонском языках в состав АФ в качестве служебного компонента входит неизменяемая частица: рус. *бы*, мак. *би*. В чешском, польском, сербохорватском и болгарском вспомогательный глагол изменяется по лицам и числам: чеш. *bych, bys, by, bychom, byste, by*; пол. *byt, byś, by, byśmy, byście, by*; (в польском изменяемый вспомогательный глагол к тому же подвижен — он может либо прымывать к форме на *-l*, либо отрываться от нее: *chodzić bym* и *byt chodzić*); с.-х. *бих, би, би, бисмо, бисте, би; бол. бих, би, би, бихме, бихте, биха*. Однако в современном разговорном сербохорватском отмечается тенденция употреблять неизменяемое *би* для всех лиц и чисел. Пока эта тенденция не закрепилась в литературном языке, но, вероятно, можно предположить, что развитие АФ СН пойдет по этому пути.

В русском, чешском и польском языках безударность служебного компонента АФ СН и его тяготение к полноударному слову в предположении приводят к сращению этого служебного компонента с некоторыми союзами и частицами: рус. *чтобы, если бы, будто бы, хотя бы, лишь бы* и т. д.; чеш. *aby, kdyby*; пол. *aby, choćby, iżby, gdyby, jeśliby, żeby* и т. д. При этом в чешском и польском, где служебный глагол изменяется по лицам и числам, данные сращения также оказываются изменяющимися по лицам и числам: чеш. *abych, abys, aby* и т. д., *kdyby, kdybys, kdyby* и т. д.; пол. *abym, abys, aby* и т. д., *kdybym, kdybys, kdyby* и т. д., *żebym, żebyś, żeby* и т. д. Кроме того, в чешском и польском в сращения со вспомогательным компонентом АФ СН могут входить некоторые модальные усиливательные и побудительные частицы: чеш. *Budej' by dala chvíliku rokoj!*; *Kéž by přišlo jaro!*; пол. *Bodajby go Pan Bóg skaral!*; *Bylebys się nie spóźnił!* и проч. Это обстоятельство создает затруднения в выделении АФ глагола в процессе лингвистического анализа. Представляется, что данные союзы и частицы не могут считаться входящими в состав АФ СН, они лишь усиливают и расширяют категориальное значение сослагательности, внося оттенки желательности, возможности, условности и пр. В этом смысле М. Гроховский назвал их операторами наклонения [25, с. 49—50]. Ни в болгарском, ни в македонском, ни в сербохорватском таких сращений не образуется.

В чешском, польском, сербохорватском и болгарском языках различаются так называемые сослагательное наст. вр. и сослагательное прош. вр.: чеш. *bych přinesl* и *byl bych přinesl*; пол. *chodził bym* и *był bym chodził*; с.-х. *бих слушао* и *бих био слушао*; бол. *бих казал* и *бих би казал*. Рядом грамматистов замечено, что эти формы отличаются друг от друга не временными, а модальными значениями. Первая форма обозначает потенциально выполнимое действие (возможное, допустимое, но не реально существующее в действительности): чеш. *Potomh bych vám, gdybym thohl*; пол. *Chętnie bym coś przekusił*. Вторая форма обозначает невыполнимое и соответственно невыполненное действие: чеш. *Kdybym to byl věděl, nebyl bych tam šel* ‘Если бы я это знал, я бы туда не пошел’ = ‘Я туда не пошел’; пол. *Byłbym się przeurósicil* ‘Я чуть не упал’ = ‘Я не упал’. Поэтому представляется более разумным говорить не о темпоральной парадигме СН, а о двух сериях форм СН — сослагательном I и сослагательном II, поделивших между собой то категориальное значение сослагательности, которое в русском языке выражается в одной форме (и потенциально осуществимое, и неосуществимое действие).

В современных польском и сербохорватском языках сослагательное II употребляется редко, в болгарском эти формы вообще искусственны (они иногда конструируются некоторыми писателями) и реально не используются. Тем не менее нельзя не признать существования в grammatischen системах чешского, польского, сербохорватского и болгарского языков двух разных серий глагольных форм СН с несовпадающими модальными значениями.

В этой связи следует упомянуть о сочетаниях глаголов в форме прош. вр. с частицей *было* в русском языке. Данная конструкция служит для обозначения действия начавшегося, почти доведенного до конца, но не осуществившегося или не приведшего к желаемому результату: *Повозка было*

тронулась, но он остановил ее. А. В. Исаченко, подвергнув различные случаи употребления частицы *было* семантическому и синтаксическому анализу, пришел к обоснованному выводу, что сочетания глагольных форм прош. вр. с *было* не только не относятся к СФ (хотя и напоминают сослагательное II в других славянских языках), но вообще не входят в систему наклонений русского языка [4, с. 516].

В болгарских грамматиках нередко упоминается о существовании СФ СН: *ядвам* (наст. или буд. вр.), *ядвах* (имперфект), которые образуются с помощью суффиксов, омонимичных суффиксам имперфектифации (-*ea*, -*aea*, -*a*). Для устранения возникающей омонимии в языке создаются СФ с удвоением *в* (*даввам*), или вместо суффикса *-a* начинает функционировать суффикс *-ea-* (*прочитам* 'прочитываю' — *прочитвам* 'я прочитал бы'). Надо заменить, что в оформлении СФ СН наблюдаются значительные колебания, возможно большое число параллельных форм у некоторых глаголов. Это говорит о недостаточной морфологической четкости данных форм, что, очевидно, связано с тем, что синтетическое СН возникло в болгарском языке сравнительно недавно в результате переосмыслиния образований со значением многократности и некоторых вторичных имперфективов. СФ СН употребляются в бытовом языке и в диалектах и гораздо реже — в литературном разговорном языке.

По значению СФ и АФ СН во многих случаях равны друг другу, но иногда в СФ на первый план выступает оттенок субъективной готовности совершить действие: *Умирах не я пущах!* 'Я готов был умереть, но не пустил бы ее'. В том смысле Л. Андрейчин пишет, что СФ можно было бы назвать «условным наклонением готовности» в отличие от АФ, которое можно назвать «условным наклонением возможности» [16, с. 237].

Представляется, что отсутствие четкой морфологической оформленности синтетического СН, существование в нем временных форм и наличие в его семантике значения, отличающего его от аналитического СН, делает грамматический статус СФ СН не совсем ясным — то ли это форма СН, то ли — одна из видовых совершаестей. Единства мнений по данному вопросу в болгаристике пока не достигнуто. Св. Иванчев, например, считает, что рассматриваемые формы должны быть отнесены к видеообразованию [26, с. 17]. К этой точке зрения недавно присоединился Х. Вальтер [27]. По-видимому, перед нами случай некоторого переходного состояния морфологических форм, не влившихся полностью в категорию наклонения.

В СН, так же как и в императиве, наблюдается явление транспозиции, например, в сербохорватском языке формы СН иногда могут употребляться для выражения привычного, повторяющегося действия в прошлом: *Чим би неко дете зажелело до поједе коју урму, почело би се каменицама бацати по мајмуне* 'Как только у какого-либо ребенка возникло желание съесть финик, так он начинал бросать камнями в обезьяну'. Категориального значения СН (действие не реальное, а лишь возможное, желаемое, предполагаемое, намечаемое), здесь не передается. Иначе как транспозицией СН объяснить эту ситуацию не представляется возможным³. Транспозиция форм СН встречается в славянских языках реже, чем транспозиция форм императива⁴.

В болгарском языке в условных предложениях употребляется не только СН, но и буд. в прош., формы которого по этой причине иногда также относят к СН: *Ако имах свободно време, щях да разгледам града*. Однако для такого отнесения нет достаточного основания, ибо СН и буд. в прош. не только представлены разными формами, но и передают различающиеся значения — в форме буд. в прош. *щях да разгледам* выражается уверенность в совершении действия, предстоящего по отношению к другому действию в прошлом (т. е. реальное действие); в форме же СН выражается лишь возможность осуществления действия (т. е. нереальное действие): *Ако имах свободно време, бих разгледал града* 'Если бы у меня было свободное

³ Ср. замечание М. Стевановича о том, что в подобных случаях форма СН не имеет модального значения [28, с. 717].

⁴ Подробнее о формах СН в славянских языках см. [29].

время, я бы осмотрел город'. Конечно, возможно так называемое модальное употребление буд. в прош., значение которого вытекает из его времененного значения. О действии, которое было предстоящим в какой-то момент прошлого, часто говорят в том случае, если это действие затем почему-либо не свершилось: *Щях да падна* 'Я чуть не упал'. На этой же основе развилось употребление буд. в прош. в условных предложениях, где оно выступает своеобразным эквивалентом СН, но не относится к грамматической категории наклонения.

Сходная ситуация наблюдается в македонском языке, в котором некоторые грамматисты усматривают, кроме сослагательного, еще условное наклонение, состоящее из двух разновидностей: условное реальное (относится к наст. или буд. моменту) и условное ирреальное (относится к прош. моменту) [30, с. 101—102; 31]. Формы условного реального наклонения омонимичны формам буд. вр., они образуются с помощью частицы *ќе* и презенса: *ќе читам*, *ќе читаш*, *ќе чита*, *ќе читаме*, *ќе читате*, *ќе читатам*. Формы условного ирреального омонимичны формам буд. в прош., они образуются с помощью той же частицы *ќе* и имперфекта: *ќе читав*, *ќе читаше*, *ќе читавше*, *ќе читавме*, *ќе читавте*, *ќе читава*. Представляется, что условное реальное не только формально совпадает с буд. вр., но и по выражаемым значениям принципиально от него не отличается. На это указывает Г. Лант, замечая, что оно имеет специфическое значение уверенно ожидаемого будущего или привычного действия, например, *Ако ти ја решиши таа задача, ќе ти бидам благодарен* 'Если ты решишь эту задачу, я буду тебе благодарен'. Что касается условного ирреального, то оно может передавать значения, близкие к значению СН (в общем виде — это значения возможного, желаемого и пр. действия), т. е. может иметь модальное употребление, например, *Ќе дојдев ако нејдев време* 'Я пришел бы, если бы нашел время'. Г. Лант, однако, считает, что с точки зрения соотношения действия с действительностью, форма *ќе* + имперфект выражает те же значения, что и форма *ќе* + презенс, но действие здесь представлено как предшествующее во времени моменту речи (правильнее — является будущим по отношению к другому действию, предшествующему моменту речи) [31, р. 83, 89, 101]. Иначе говоря, он приравнивает значение условного ирреального к значению буд. в прош. Ср. выше о формах буд. в прош. в болгарском языке, не отнесенных к категории наклонения. По-видимому, вернее всего будет согласиться с Б. Конеским, не признающим особых условных реального и ирреального наклонений в македонском языке и говорящим о различиях временных форм буд. и буд. в прош., в том числе таких, которые приближаются по значению к СН [32, с. 131, 212—225] ⁵.

Значения, близкие к СН, передаются в болгарском и македонском языках также сочетаниями личных форм глагола с частицей *да*. Ю. С. Маслов даже считал, что с известным основанием можно говорить о *да*-конструкции как об особом наклонении — конъюнктиве, однако на этом не настаивал, предлагая не описывать эту конструкцию в одном ряду с на клопением [19, с. 285—290]. С последним предложением трудно не согласиться, тем более, что приведенный Ю. С. Масловым языковой материал позволяет прийти к выводу о том, что сочетания форм 2 л. ед. и мн. ч. и 1 л. мн. ч. наст. вр. с частицей *да* правомерно трактовать как императив, сочетания же других лиц и чисел наст. вр. с *да* — как свободные модальные сочетания, выражающие разные оттенки волеизъявления: приказ (*Да мълчат!* 'Пусть они молчат!'), просьбу (*Да не се тревожат за него* 'Пусть не беспокоятся о нем'), пожелание (*Да живее Първи май!*), неуверенность, сомнение (*Какво да правим?* 'Что же нам делать?' — часто в вопросительных предложениях, где императив не может употребляться). В близких семантических функциях используется модальная конструкция *да* + перфект, выражающая 1) эмфатическое запрещение производить действие (*Да не си стъпила на прага ми вече!* 'Чтоб ты никогда не ступала на мой порог!'); 2) долженствование в прошлом, оставшееся нереализован-

⁵ Ср. также позицию В. М. Иллича-Свитыча, не видевшего в македонском языке условного наклонения [33, с. 563, 566].

ным (*Като си имал, да си ги вардил* ‘Если они у тебя были, ты должен был их беречь’).

От частицы *да* следует отличать омонимичный ей союз *да*, который употребляется в предложениях с формами СН для выражения значения обусловленной возможности (*Да би мирно седяло, не би чудо видяло* ‘Если будешь сидеть неподвижно, чуда не увидишь’).

Вопрос о конъюнктиве в македонском языке не менее сложен, чем в болгарском. Обычно отмечается, что *да*-конструкция употребляется при описательном выражении значений императива, сослагательного и условного наклонений [30, с. 102—103]. Убедительных доказательств существования отдельного косвенного наклонения, отличного от императивного и сослагательного, в лингвистической литературе не приведено. Не объяснено, в частности, как объединить в одну категориальную форму наклонения такое разнообразие структур, как *да* + синтетический императив, *да* + презенс, *да* + перфект I (со вспомогат. *сум*), *да* + перфект II (со вспомогат. *има*), *да* + СН с частицей *би*. Представляется более логичным различать среди сочетаний с *да* АФ императива для 2 л. ед. и мн. ч. и 1 л. мн. ч. наст. вр. (*Да одиме на прошетка!* ‘Пойдем на прогулку!’) и свободные сочетания глагольных форм с этой частицей, имеющие различные модальные значения (*Да сум ја слушнал!* ‘Хоть бы мне ее услышать?’ — эмоционально усиленное желание, выраженное сочетанием частицы *да* и формы перфекта I; *Да би волци те јале!* ‘Чтоб тебя волки съели?’ — также значение усиленного желания/пожелания, выраженное сочетанием частицы *да* и формы СН). Таким образом, представляется, что так называемый конъюнктив в болгарском и македонском языках следует признать набором аналитических модальных конструкций, а не особым косвенным наклонением.

Более убедительными кажутся доводы некоторых лингвистов в пользу наличия в болгарском языке косвенного предположительного, или умозаключительного наклонения, или конклюзива [19, с. 193, 244, 277—278; 34, с. 19—21]. Последний пока недостаточно изучен. Обычно считается, что конклюзив выражает констатацию говорящим действия на основе его собственного умозаключения или предположения, например, *Той е пишел сега нов роман* ‘Он, как можно заключить, пишет сейчас новый роман’. Для выявления категориального значения конклюзива вернемся к схеме наклонений, предложенной А. В. Исаченко. Естественно, конклюзив получает плюсы по признакам «нереальность действия выражена» и «ограниченность действия рамками 1-го и 2-го лиц не выражена», оказываясь в одной графе с СН. Для различения этих двух наклонений можно предложить признак «субъективность в оценке действия выражена». Конклюзив получит по этому признаку плюс, а СН — минус. Тогда соответствующая часть схемы А. В. Исаченко приобретает следующий вид:

Ограниченнность действия рамками 1-го и 2-го лиц не выражена	
Субъективность в оценке действия	
Не выражена	Выражена
Сослагательное наклонение <i>бих казал</i> <i>би казал</i> <i>би казал</i> и т. д.	Конклюзив <i>казал съм</i> <i>казал си</i> <i>казал е</i> и т. д.

Формы конклюзива относятся к аналитическим, они состоят из спрягаемого вспомогат. глагола *съм* и причастия имперфекта на *-л*, частично совпадая с формами категории пересказывания. Различие состоит лишь в том, что конклюзив сохраняет вспомогат. *съм* в 3 л. (*е* и *са*), в то время как в пересказывательных формах (ПФ) вспомогат. *съм* в 3 л. ед. и мн. ч.

обязательно опускается. Таким образом, в 1 и 2 лицах обоих чисел конклюзив омонимичен пересказыванию, отчетливо выделяются только конклюзивные формы 3 лица. В парадигму конклюзива обычно включают следующие темпоральные формы: наст. и имперфект (*пишел е* 'он, как можно думать, пишет или писал'); аорист (*писал е* 'он, как можно думать, написал'); плюсквамперфект (*был е писал* 'он, как можно думать, писал раньше, чем произошло что-то другое'); буд. и буд. в прош. (*щял е да пише* 'он, как можно заключить, будет писать или собирался писать'); буд. предварит. и буд. предварит. в прош. (*щял е да е писал/пишел* 'он, как можно думать, будет писать или должен был писать раньше, чем произойдет что-то другое'). Некоторые авторы, например, Ю. С. Маслов, считают проблематичным включение в умозаключительное наклонение форм типа *писал е*, поскольку эти формы полностью, во всех лицах, омонимичны формам перфекта индикатива. Ив. Кузаров же принимает очень расширенную парадигму конклюзива, утверждая, что, кроме перечисленных, существуют также ПФ конклюзива. Это наст. и имперфект (*пишел бил*), аорист (*писал бил*), буд. и буд. в прош. (*щял бил да пише*), буд. предварит. и буд. предварит. в прош. (*щял бил да е писал/пишел*) [35, с. 120]. Ряд других лингвистов считает ПФ формами пересказывательного наклонения (ПН), а не особой грамматической категории, отличной от наклонения. Так, недавно формы, относимые Ив. Кузаровым к пересказывательным конклюзивным (например, *щял бил да пише*, *щял бил да е писал*), трактуются как эмфатические (усиленные) формы ПН [16, с. 218—219]. Надо сказать, что это очень сложные вопросы, требующие специального рассмотрения. В данной статье они не анализируются, здесь представляется важным лишь обратить внимание на тот факт, что в болгарском языке существует умозаключительное наклонение, т. е. косвенных наклонений больше, чем в других славянских,— по крайней мере, на одно.

Что касается ПФ, то, как упоминалось, они не относятся к области наклонения. Проблеме этих форм посвящена обширная литература, которую в данной статье нет возможности обсуждать (см., например, [36]). Отметчу только, что уже давно показано, что императив и СН, с одной стороны, и так называемое ПН, с другой, противопоставляются индикативу по разным основаниям [37]. При пересказе речь идет не об отношении действия к действительности, не о его реальности или нереальности. ПФ могут выражать как реальные, так и нереальные действия: кроме индикативных ПФ, есть императивные и сослагательные ПФ. Это свидетельствует о неверности интерпретации их как форм наклонения, ибо тогда оказалось бы, что в одной морфологической форме слова пересекаются два разных члена одной и той же грамматической категории (пересказывательное и императивное наклонения, пересказывательное и сослагательное наклонения), а это, как доказано в лингвистике, невозможно [1, с. 8—9]. Пересказывание является отдельной грамматической категорией, члены которой противопоставляются по признаку «указание на первичный или вторичный характер оценки говорящим отношения действия к действительности» [37, с. 359]. Иными словами, ПФ сигнализируют, что говорящий делает сообщение о действии на основании непрямой, чужой информации; не-ПФ сигнализируют о прямой, в том числе личной, информации или не содержат указания на источник информации о действии. В других славянских языках значение пересказывательности также выражается, но не грамматическими, а лексическими средствами — с помощью ряда частиц (например, рус. *мол*) и некоторых групп глаголов, чаще всего глаголов *dicendi*. Ср. бол. *Изгорил се с бакър* и рус. *Говорят, он обжегся медью*.

ПФ в болгарском языке являются аналитическими, они состоят из спрягаемой формы вспом. глагола *съм*, которая в 3 л. ед. и мн. ч. последовательно опускается, и причастия на *-л*. Парадигма пересказывания весьма обширна — пересказывание пронизывает оба залога, все наклонения, все времена, оба вида. Ив. Кузаров различает 18 теоретически возможных ПФ, например, *пишел съм* (наст. и имперфект изъяв. 1 л. ед. ч.), *пишел* (3 л. ед. ч.); *писал съм* (аорист 1 л. ед. ч.), *писал* (3 л. ед. ч.);

был съм писал (перфект и плюсквамперфект 1 л. ед. ч.), был писал (3 л. ед. ч.); щял съм да пиша (буд. и буд. в прош. 1 л. ед. ч.), щял да пиша (3 л. ед. ч.) и т. д. [34, с. 7–17]. Некоторые ПФ имеют крайне ограниченное употребление, поэтому ряд грамматистов их не рассматривает.

Грамматический статус ПФ в македонском языке такой же, как в болгарском, — это формы особой модальной категории пересказывания, отличной от категории наклонения [30, с. 94, 104–106].

В связи с категорией пересказывания обычно рассматривают так называемые адмиратив и дубитатив. Категориальная сущность адмиратива в современном болгарском языке с давних пор и по сей день вызывает споры. Речь идет о глагольных формах, совпадающих с ПФ и употребляемых для выражения удивления при назывании неожиданного для говорящего действия: *Aх, то валило!* ‘Оказывается, пошел дождь!’. Л. Андрейчин считал эти формы пересказывательными, но без значения пересказывательности. Ю. С. Маслов относил адмиративное значение к одной из разновидностей категориального значения пересказывательности. Е. И. Демина включает эту группу форм в изъявительное наклонение. Наиболее убедительной представляется позиция Ив. Куцарова, который утверждает, что в случае адмиратива имеет место использование ПФ в несвойственном для этой категории значении, т. е. фактически указывает на транспозицию пересказывания, не употребляя, однако, этого термина. Следовательно, об особом косвенном адмиративном наклонении говорить не приходится.

Много споров вызывает также проблема дубитатива в болгарском языке. Грамматисты отмечают в некоторых ПФ (формах так называемого усиленного пересказа == ПФ конклюзива) значения сомнения, недоверия, неодобрения, иронии говорящего по отношению к чужим словам, которые он передает. Отсюда нередко делается вывод о существовании еще одной категориальной формы наклонения — дубитатива. Но Ив. Куцаров убедительно показал, что наличие дубитативного нюанса в формах усиленного пересказа объясняется тем, что это формы косвенного (субъективного) умозаключительного наклонения; в них значение дубитативности входит в семантику этого наклонения. Данный нюанс привносится также особой дубитативной интонацией и дополнительными лексическими единицами (частицами *уж* и *май*). При этом интонация и частицы могут употребляться с указанным эффектом при любых ПФ — как ПФ конклюзива, так и ПФ индикатива: *Нямало било война!* (ПФ конклюзива) и *Не можел, че не можел!* (ПФ индикатива) (см. [34]). Следовательно, нет оснований выделять особое дубитативное наклонение.

В связи с проблемой грамматического статуса ПФ вообще и адмиратива и дубитатива в частности очень интересна концепция грамматических категорий болгарского глагола, предложенная Г. Герджиковым [38]. Согласно Г. Герджикову, существует модальная категория «модус высказывания о действии» (не тождественная категории наклонения), которая выражает отношение говорящего к высказыванию о действии и к связи между высказыванием о действии и действительностью, в то время как категория наклонения (тоже модальная категория «модус действия») выражает отношение говорящего к действию и действия к действительности. Категория «модус высказывания о действии» состоит из 4-х членов: 1) удостоверительный модус (например, в рамках 3 л. ед. ч. имперфекта *четеше*), 2) умозаключительный модус (*четял е*), 3) пересказывательный модус (*четял*) и 4) недоверительный модус (*четял бил*). Эта категория образуется противопоставлениями по признакам пересказывательность / непересказывательность и субъективность / несубъективность. Соответственно удостоверительная форма *четеше* выражает непересказывательность и несубъективность, пересказывательная форма *четял* — пересказывательность и несубъективность, умозаключительная *четял е* — непересказывательность и субъективность, недоверительная *четял бил* — пересказывательность и субъективность. Категория же наклонения, по Г. Герджикову, состоит из трех членов: 1) индикатив, 2) императив и 3) условное (= сослагательное) наклонение. Г. Герджиков не исключает

существование также четвертого наклонения — конъюнктива. Категории «модус высказывания о действии» и «модус действия» пересекаются. Так, в удостоверительном модусе возможны все наклонения, в пересказывательном модусе — индикатив, аналитический императив, синтетическое сослагательное и конъюнктив, в недоверительном — изъявительное и конъюнктив. Те глагольные формы, которые Ю. С. Маслов и Ив. Куцаров относят к умозаключительному наклонению, Г. Герджиков считает принадлежащими к умозаключительному или недоверительному модусам. В вопросе о темпоральных парадигмах членов категории «модус высказывания о действии» Г. Герджиков первый объяснил причину отсутствия некоторых временных форм в пересказывательном и умозаключительном модусах. Он показал, что маркированные члены противопоставлений (например, ПФ маркированы по отношению к не-ПФ, а субъективные маркированы по отношению к несубъективным) имеют редуцированную темпоральную парадигму, так как в них, согласно принципу компенсации, снимается оппозиция по временной относительности / неотносительности. Этот существующий в языках принцип требует устранения избыточности семантических противопоставлений — там, где есть признак пересказывательности (пересказывательный и недоверительный модусы), устраивается противопоставление по признаку временной относительности. Например, в удостоверительном (непересказывательном) модусе различаются формы наст. вр. и имперфекта (*пише* и *пишеше*), а ПФ не знают такого различия, там двум названным временными формам соответствует лишь одна (*пишел*); перфект и плюсквамперфект имеют одно пересказывательное соответствие (*бил писал*); буд и буд. в прош. — одно пересказывательное соответствие (*щял да пише*) и проч.

Несмотря на очевидную серьезность и оригинальность работ Г. Герджикова, его идея о существовании некоторой особой четырехчленной категории «модус высказывания о действии», включающей, наряду с удостоверительным и пересказывательным, умозаключительный и недоверительный модусы и трехчленную категорию наклонения (без конклюзива), представляется все же недостаточно убедительной. Ставшее широко распространенным мнение о том, что в болгарском языке есть четыре категориальные формы наклонения (прямое — индикатив и косвенные — императив, сослагательное = условное и конклюзив), имеет гораздо более прочное обоснование.

Таким образом, произведенный обзор косвенных наклонений в славянских языках позволяет прийти к следующим выводам: 1. Во всех славянских языках, в том числе и словацком, словенском и лужицких, здесь не рассматривавшихся, общепризнано наличие двух косвенных наклонений — императивного и сослагательного. 2. В чешском, польском, сербохорватском и болгарском языках различаются две серии форм СН — сослагательное I и сослагательное II. 3. В болгарском языке можно признать существование еще одного косвенного наклонения — умозаключительного, или конклюзива. 4. ПФ в болгарском и македонском языках составляют не отдельное косвенное наклонение, а особую грамматическую категорию — пересказывание. 5. Адмиратив и дубитатив в болгарском и македонском следует рассматривать как транспозицию ПФ. 6. Принадлежность конъюнктива к категории наклонения в болгарском и македонском не доказана. 7. Существование условного наклонения (в двух его разновидностях) в македонском языке вызывает сильные сомнения. Скорее это формы категорий времени и таксиса — будущего и будущего в прошедшем. 8. Императив во всех славянских языках выражается в основном синтетически. Аналитическими его формами можно назвать с большой степенью осторожности лишь болгарские сочетания частиц *да* и *нека со* 2 л. ед. и мн. ч. и 1 л. мн. ч. наст. вр. и *недей / недейте* с «сокращенным инфинитивом». Сослагательное же наклонение во всех языках выражается аналитически. Только в болгарском есть некоторая СФ, которую ряд лингвистов относит к СН. 9. Во всех славянских языках основным компонентом АФ косвенных наклонений является глагольная форма на *-л / л* (по происхождению — причастие). 10. В русском и маке-

донском языках в качестве служебного компонента АФ СН используется неизменяемая частица (*бы* и *би*). В остальных языках вспомогательный глагол изменяется по лицам и числам. 11. В русском, чешском и польском образуются сращения служебного компонента АФ СН с некоторыми частицами и союзами. При этом в чешском и польском, где служебный компонент изменяется по лицам и числам, данные сращения также оказываются изменяющимися по лицам и числам. Это обстоятельство создает затруднения в вычленении АФ СН при лингвистическом анализе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Смирницкий А. И. Морфология английского языка. М., 1959.
2. Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка. М., 1957.
3. Смирницкий А. И. Аналитические формы.— Вопросы языкознания, 1956, № 2.
4. Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Ч. II. Братислава, 1960.
5. Виноградов В. В. Современный русский язык, вып. II. М., 1938.
6. Виноградов В. В. Русский язык. М.—Л., 1947.
7. Кузнецов Н. С. Глагол.— В кн.: Современный русский язык. Морфология. М., 1952, с. 283—292.
8. Якобсон Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол.— В кн.: Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
9. Бондарко А. В., Буланин Л. Л. Русский глагол. Л., 1967.
10. Troubetzkoy's Letters and Notes. The Hague — Paris, 1975, p. 223.
11. Lehfeld W. К определению множества словоформ повелительного наклонения в современном русском литературном языке — Russian Linguistics, 1981, v. 5, p. 267—285.
12. Волобин А. П., Храковский В. С. Парадигма русского императива.— Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 719, 1985.
13. Suster-Sewc H. Gramatika hornjoserbskeje rěče Budyšin, 1968.
14. Ермакова М. И. Очерк грамматики верхненемецкого литературного языка. М., 1973, с. 270—273.
15. Gramatik der obersorbischen Schriftsprache der Gegenwart. Bautzen, 1980.
16. Андрейчин Л. Грамматика болгарского языка. М., 1949.
17. Грамматика на съвременния български книжовен език. Т. 2. Морфология. София, 1983.
18. Orzechowska H. Elementy struktury analitycznej i syntetycznej w systemie czasownika polskiego.— In: Kategorie verbalne w jezyku polskim i bułgarskim. Materiały na konferencję naukową polsko-bulgarską. Warszawa, 1977.
19. Маслов Ю. С. Грамматика болгарского языка. М., 1981.
20. Молошная Т. Н. О так называемых аналитических формах императива в славянских языках.— В кн.: Синхронно-сопоставительное изучение грамматического строя славянских языков. Тезисы докладов и сообщений советско-польской конференции 3—5 окт. 1989 г. М., 1989.
21. Молошная Т. Н. К вопросу о так называемых аналитических формах императива в русском языке.— Russian Linguistics, 1990, v. 14, № 1.
22. Попов К. Българският повествователен императив.— Известия на Института за български език, кн. XVI, 1968.
23. Иванова К. Остатъци от употребата на глаголи от свършен вид в отрицателна императивна форма.— Български език, 1963, кн. 6.
24. Попова В., Ницолова Р. Към въпроса за транспозициите на императива в славянските езици.— Славянска филология. Т. 15 София, 1978.
25. Grochowski M. Polskie partykuły: składnia, semantyka, leksykografia. Wrocław — Warszawa — Łódź, 1986.
26. Иванчев Св. Видово-падстроечни категории в системата на славянския глагол.— В кн.: Славистични студии. София, 1963.
27. Валтер Х. По въпроса за наклоненията в съвременния български книжовен език.— Език и литература, 1989, № 1.
28. Стевановић М. Савремени српскохрватски језик. II. Београд, 1974.
29. Молошная Т. Н. Об аналитических формах сослагательного наклонения в славянских языках.— В кн.: Проблемы сопоставительной грамматики славянских языков. М., 1990.
30. Усикова Р. П. Македонский язык. Скопје, 1985.
31. Lunt H. A grammar of the Macedonian literary language. Skopje, 1952.
32. Конески Б. Граматика на македонскиот литературен јазик. Дел II. Скопје. 1954.
33. Македонско-русский словарь. М., 1963.
34. Кучаров Ив. Преизказането в българския език. София, 1984.
35. Кучаров Ив. Очерк по функционално-семантична грамматика на българския език. Пловдив, 1985.
36. Молошная Т. Н. Категория пересказывания болгарского глагола.— Советское славяноведение, 1989, № 2.
37. Демина Е. И. Пересказывательные формы в современном болгарском литературном языке.— В кн.: Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959.
38. Герджиков Г. Преизказането на глаголното действие в българския език. София, 1984.



СООБЩЕНИЯ

КЛЕЙН Л. С.

ЯЗЫЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЛИНГВИСТИКЕ

Когда к языку обращаются историки и археологи, это всегда интересно, но всегда не просто.

История — наука синтеза. Она делает свои реконструкции, сводя воедино разные виды источников. Когда речь идет о поздних эпохах, эта истинна выступает неявно: письменные источники, благодаря своему богатству и многообразию, затмевают все остальные — лингвистические, этнографические, археологические и прочие. А как только речь заходит о временах дописьменных, все эти забытые виды источников заявляют свои права. Но каждый из них ограничен, обрывочен, узок. История (или доистория), построенная на одних лишь археологических свидетельствах, бледна, нема и мертва. Чтобы оживить ее и заставить говорить, историки вынуждены сочетать археологические источники с другими. Претендуют на роль синтезаторов и сами археологи.

Тут есть трудность: археологи, будучи специалистами в своей отрасли, не имеют подготовки для занятий лингвистикой, антропологией или, скажем, палеонтологией. Как быть? Вывод прост: историки, сводящие воедино источники разного вида, не вправе обрабатывать их сами, а должны использовать результаты подготовительных работ соответствующих специалистов — археологов, лингвистов и т. д. Того же правила обязаны придерживаться и археологи, когда они выступают в роли историков-синтезаторов. Как бы ни было велико искушение самим разворотить пласти языка, самим «допросить» черепа и т. п., какими бы простыми ни казались материалы лингвистики или кости, археологу разумнее воздержаться от смелых вылазок в смежные науки: в них он дилетант и рискует опростоволоситься.

Иной раз искушение оказывается непреодолимым — это бывает, когда ученый достиг большого авторитета и высоких званий в своей собственной отрасли науки. И он переступает запретную границу.

Передо мной двухтомный труд академика Б. А. Рыбакова о славянском язычестве [1; 2]. Данным языка Б. А. Рыбаков придает первостепенное значение: с их помощью устанавливает смысл имен богов, их функции, связи, проводит параллели между богами разных народов и т. п. Используя данные языка как источник, автор не базируется на чьих-либо исследованиях, а предпринимает разыскания самостоятельно, хотя не имеет в лингвистике ни специальной подготовки, ни начитанности, ни хотя бы интуиции. Только смелость. И его экскурсы в лингвистику просто ужасны. Беда в том, что они могут понравиться дилетантам (т. е. массе читателей) своей простотой, доступностью, броскостью, могут вызвать подражание. Но любой лингвист отшатнется от них в ошеломлении. Он скажет, что языковые связи нельзя устанавливать по чисто внешнему сходству, нужно знать внутреннюю форму слова, знать законы соответствий и словоизменения, родства слов. Без этого лингвистические разыска-

Клейн Лев Самуилович — археолог, Ленинград.]

ния оказываются на уровне начала XIX в.— до развития индоевропеистики.

Как и автор труда о язычестве, сам я тоже археолог, не лингвист. Но в молодости приобрел и филологическое образование, что позволяет мне, по крайней мере, отличать профессиональное, компетентное обращение с данными языка от противоположного. У меня есть претензии и к другим сторонам труда Б. А. Рыбакова, но по ним можно вести профессиональный спор. Что же касается лингвистических доказательств... Я долго ждал, что специалисты должным образом отреагируют на профанацию их науки в труде маститого археолога, но появляются все новые хвалебные рецензии. Но ведь авторитет академика будет способствовать распространению превратных представлений и ложных методов лингвистики среди молодежи и интересующейся публики. Высокое звание академика обязывает к особой ответственности. Достойно сожаления, что автор труда не преодолел искушения отбросить докучные правила науки, а специалисты по лингвистике предпочли промолчать.

Поскольку все это серьезные обвинения, приведу дюжину примеров.

1. В слове *Макошь* (имя богини) автор видит две части: *Ма* и *кошь*. Первую он толкует как ‘мать’ (поскольку богиня *Ма* засвидетельствована в критомикенских табличках), а вторую — как древнерусское название жребия и, одновременно, корзины (действительно, такие слова есть в древнерусском языке). Таким образом, название богини расшифровывается автором как ‘Мать счастливого жребия’ (богиня судьбы) и ‘Мать хорошего урожая’ (поскольку в корзину могли складывать плоды). И ‘Мать счастья’: ведь урожай — конечно, счастье [1, с. 384, 386]. Все это с самым серьезным видом, несмотря на то, что в образе богини ничего не свидетельствует ни о первом, ни о втором, ни о третьем (больше всего материалов говорит о женских работах, в частности, прядении). И где же в русском языке *мать*, *матерь* сокращается в *ма*? Разве что в языке детей, да и то не в начале сложного слова. Кроме того, в русском языке сложное (составное) слово иначе строится: основное существительное стоит в конце, а определяющее слово — в начале (так обстоит дело с *Богоматерью*, так и с *Дажьбогом*). Для того смысла, который имел в виду Рыбаков, уж лучше подошло бы слово *кошма* (к сожалению, точно известно, что это заимствование). Да и звучание *Макошь* нестандартно: известны *Мокошь*, *Макешь*, *Мокуша* и т. д.

2. Слово *Кострома* (название кумира, большой соломенной куклы) академик толкует по тому же шаблону, хоть и с учетом русской схемы словосложения: *костра* — ‘остистые части колосьев, обрезки соломы’ и т. п., *ма* — ‘мать’, а поскольку матерью у славян называлась земля (Мать-Сыра-Земля), то все слово у Рыбакова означает: ‘поросшая земля’ [1, с. 378]. Предлагает он и другую расшифровку: ‘Мать колосьев’ [2, с. 154]. А что же тогда означает синоним *Костромы* — *Кострубонько*? Связь соломенной куклы с *кострой*, действительно, напрашивается, но *-ма* — просто суффикс, как в слове *ведьма*.

3. Древнерусское слово *кощуна* (ср. *коштъна*) ‘срамословие, богохульство’ Рыбаков считает состоящим из *кош* ‘жребий’ и *туне* ‘безвзмездно’ (*туний* ‘лучший’, *тунь* ‘особенно’). Все в целом должно было означать ‘напрасный жребий’, ‘напрасную судьбу’ (снова порядок частей в слове нерусский!), т. е. ‘напраслину’, ‘басни’, а первоначально ‘миф’ [2, с. 315].

Языковеды же связывают слово *кощуна* (*кощунство*) с *кощунъ* ‘богохульник, насмешник’, а *кощунъ* производят от *костить*, *кошу* (ср. *пакость*), т. е. ‘бить, трепать’ и т. п., ср. [1, т. I, с. 362].

4. Слово *вампир* Б. А. Рыбаков рассекает на две части: *въ-* (*вам-*) толкует как ‘оный’, ‘иной’ (хотя тогда было бы *Ин*), а остаток — *пърь* — как обозначение силы, и видит тот же корень в словах *пря*, *порато* и... *топор!* Последнее он раскладывает на *то-* и *-пор*; *то* — очевидно, указательное местоимение (только другое, чем *оный*), а *пор* — ‘сила, которая заключается в топоре’. *Вампир* же оказывается ‘человеком иной силы’ — имеется в виду потусторонняя сила [1, с. 126].

Если бы академик обратился к трудам языковедов, то выяснил бы, что *topor* — вероятное заимствование из иранских языков (где белудж. *tapar* и курд. *tefer* соответствуют др.-иранск. **taþara* (см. [1, т. IV, с. 79]), *vamplir* — из польского (возможно, через западноевропейское посредство), а в польском это передача того же древнего праслав. **þrūgъ* / **þrīrъ*, которое отражает и рус. *улырь* (см. [1, т. IV, с. 165; т. 1, с. 274]).

5. Восточнославянское *мordовать* автор [1, с. 281] производит от гипотетического скифского *tar* ‘убивать’, тогда как это явное заимствование из германских языков —ср. нем. *morden* ‘убивать’, *Mord* ‘убийство’.

6. Древнерусское слово *смерд* ‘крестьянин’ (в Северо-Восточной Руси —‘сирота’), ср. польск. *smard*, Б. А. Рыбаков рассматривает как скифское наследие, но при скифском (ираноязычном) корне обнаруживает славянский, русский префикс *с-* и толкует все слово *со-мерд* как ‘сумирающий’. То есть, по его мнению, первыми смердами (скифского времени) были те, кого убивали для сопровождения царя в могилу [1, с. 233, 281]. Правда, с царем, по Геродоту, погребали слуг из знати, но значение слова могло измениться...

В действительности, по мнению М. Фасмера, рус. *смерд* продолжает праслав. **smyrdъ*, связанное с **smyrdēti*, откуда рус. *смердеть*, см. [3, т. III, с. 684—685].

7. Само название части скифов *сколоты* академик раскрывает аналогичным образом как славянское, от слова *коло* ‘круг, объединение’,— со значением ‘союзники’, ‘объединенные’ [1, с. 227]. От этого термина произошло, полагает он, современное самоназвание славян: у античных авторов они —‘склавины’. А так как *коло* ‘круг’ еще приложимо и к солнцу, то *сколоты* (а за ними и *славяне*) расшифровываются еще и как ‘потомки Солнца’, ‘внуки Солнца’ [1, с. 434]. Красиво, возвышающее, лестно.

Но ведь «склавины» — это именно иноязычное восприятие слова —треками, которым трудно было произносить звукосочетание *сл-* в начале слова (у них в языке такого нет). Никогда и нигде сами славяне себя «склавинами» не называли. А выражение ‘язык словенеск’, по наиболее правдоподобному объяснению, означало ‘словесный язык’ (т. е. понятный) и ‘словесный народ’ (т. е. понимающий речь). Ср. противоположность —*nemeц* (так поначалу назывались иностранцы не только из Германии). Этноним же «сколоты» рассматривается некоторыми языковедами (в частности, О. Семерены) как вариант термина ‘скифы’. А поскольку, по данным лингвистики, все скифы были ираноязычны, очень трудно притянуть *сколотов* к славянам.

Впрочем, в [2, с. 252] автор предлагает уже иную разбивку и расшифровку термина ‘словене’: *сло-вѣне* —‘(послы) из *венедов* выселенцы из земли *вене-* ...’(—ды в *венеды* придется объяснить как-нибудь иначе). А что мешает и так разделить слово? Б. А. Рыбаков абсолютно свободен. От всего, что сдерживает лингвистов. Своего рода ‘мозговой штурм’, вынесенный на страницы печати массовым тиражом.

8. С *чарой* (сосудом) автор связывает *чары* ‘волшебство’, откуда *очарование*, *чародей* и т. п. Он считает, что славяне чуть ли не с трипольского времени гадали и кудесничали над чарами с водой, поэтому и все священнодействие с чарой-сосудом получило название *чаро-действо*, а отсюда *чары* —‘волшебство’ [1, с. 73, 184].

На деле же *чара* (сосуд) — возможное заимствование с востока (ср. вост.-турк. *čara* ‘большая чаша’). А *чары* ‘волшебство — индоевропейское наследие: ср. авест. *čārā* ‘средство’, персидск. *čār* ‘то же’, лит. *kēras* ‘волшебство’ и проч. (см. [3, т. IV, с. 317], ср. также [4, вып. 4, с. 22]).

9. Слово *берлога* автор раскрывает как ‘логово бера’, а так как нем. *Bär* означает ‘медведь’, то делается вывод, что и в русском языке некогда медведь назывался *бер* [1, с. 102]. Этот заманчиво звучащий вывод и языковеды делали в прошлом веке. Но не в нынешнем, потому что *берлога* означает ‘логово медведя’ только в русском языке, а слово имеется и

во всех остальных славянских языках (болг. *бърлóк*, чешск. *brloh* и др.) и означает в них нечто иное: ‘плохую подстилку из соломы’, ‘грязное обиталище’, ‘логоvo свиной’, ‘убогую хижину’ (praslaw. *въrloga/ *въrlogъ — это производное от глагола *въrl'ati/ *въrliti, см. [4, вып. 3, с. 169—170]).

10. Рыбаков считает, что *хоромы*, *храм* раньше у славян непременно были круглыми: он производит эти слова от *хоро* ‘круг в хороводе’. По его мнению, только в христианское время этот корень совпал с греческим χορός ‘собрание’, ‘хор’ и ‘хорос’ (круглое паникадило), а в языческое время *хоро* было просто вариантом слова *коло* ‘круг’ [2, с. 228, 767] и было связано с богом Хорсом [1, с. 434].

Но *хоровод* сам происходит от *хор*, заимствованного из греческого χορός (см. [3, т. IV, с. 262]), а мнимое *хоро* в русском языке никак (никакими звуковыми законами) не связано с *коло*, не говоря уже о Хорсе. *Храм* же и *хоромы* не происходят ни от *хоро*, ни от *коло*, да и -м тут нё-куда девать (языковеды не могут просто пренебречь звуком). Этимологии рус. *хоромы*, праслав. *хоргъ — с наиболее архаичным значением ‘крыша, навес на столбах’ — представляющего собой, по-видимому, индоевропейское наследие, посвящены многочисленные работы лингвистов (см. [3, т. IV, с. 265; 4, вып. 8, с. 74—76]). Мы имеем несколько решений на выбор, каждое из которых наталкивается на труднопреодолимые моменты, но это — позволительные гипотезы в отличие от произвольных догадок академика.

11. В Силезии на горе *Собутка* (Sobótka, от польск. sobota ‘суббота’) есть следы языческого культа. Русские и словацкие пережиточно-языческие сходки тоже называются *субботки*. Б. А. Рыбаков отказывается производить это название от слова *суббота*: сходки не привязаны к этому дню недели. Используя диалектный словацкий вариант «событика», он увязывает весь комплекс со словом *со-бытие*, понимаемым как ‘совместное бытие, совместное нахождение’, ‘сборище’. По Рыбакову, это и есть первоначальный смысл слова *событие*, а современное значение — производное. «Яркость и театральность древних языческих сходбищ — *со-бытий* привела к тому, что слово *событие* стало обозначать нечто необычное, из ряда вон выходящее, особенно значимое» [1, с. 293—294]. В этом толковании слово затем не раз повторяется в тексте (см. [1; 2]).

Рыбаков рассматривает *c(o)-* как префикс собирательности. Между тем этот префикс придает словам и другие оттенки значений, например, завершенности действия: *со-вершиться*, *с-быться* — именно отсюда *событие*. В древнерусском языке *событие* означало только одно: ‘исполнение’ (это на большом материале показано в словаре И. И. Срезневского).

Суббота же (через греческое посредство) происходит от др.-евр. šabbāt (см. [3, т. III, с. 792]), означавшего последний день недели, у иудеев выходной. В христианском обиходе на славянских землях, когда суббота перестала быть выходным днем, слово сохранило оба значения — и порядкового имени дня, и обозначения отдыха, но последнее — в отрыве от дня недели. В этом употреблении оно стало означать любой свободный день, конец работы (ср. *шабаш* — языческий праздник, ‘табаш ведьм на Лысой горе’). Вот и объяснение *субботки*.

12. Оспаривая предложенное известным языковедом-иранистом В. И. Абаевым иранское толкование скифского имени бога Гойтосира, Б. А. Рыбаков предлагает считать это имя славянским, синонимом имени *Ярило*, *Яровит*. Дело в том, что Ярило — фигура фаллическая, а корень *гой* Рыбаков считает почти равнозначным корню *яр*: «в славянских языках *гойний* означает ‘изобильный’; *готи* — ‘живить’...» Гошло переводится как ‘фаллос’, и поэтому выражение русских былин *гой-еси*, *добрый молодец* означает примерно „viro in plenis potentia“¹. Весь комп-

¹ Латынь на совести автора или корректора. В буквальном переводе на русский выражение означает: ‘мужу в полных силах’. Если имелся в виду звательный падеж, то надо бы: *vir in potentia plena*. Впрочем, звательный падеж академик называет «апеллятивом» [1, с. 393], т. е. «нарицательным», но такого падежа нет. Нужный термин — вокатив.

лекс слов с корнем *гой* связан с понятиями жизненности, жизненной силы и того, что является выражением и олицетворением этой силы... [1, с. 70].

С детства зная белорусское выражение о ранке: *загоилась* (*загаілася*) — ‘зажила, залечилась’, — я простодушно воспринимал былинное *гой-еси* как ‘здрав будь’ и не подозревал о фаллическом смысле выражения. А именно этот смысл связал Гойтосира с Ярилой. Правда, Б. А. Рыбаков оставил без расшифровки вторую часть слова (*-tosир*) и не разъяснил, что же она означает на языке славян.

Перечень можно было бы продолжить, но, надеюсь, достаточно. Создатель так называемой «яфетической теории» Н. Я. Марр под свои вольные этимологии по крайней мере хоть какую-то базу подводил (пресловутые четыре элемента), а здесь, так сказать, методологическая распущенность.

Скандалную ошибку приходится отметить в элементарном переводе с греческого. Белорусский обряд *комоедица* Б. А. Рыбаков трактует как древний медвежий праздник и сопоставляет с историей заимствованного из греческого слова *комедия*. «У древних греков тоже был весенний медвежий праздник, и он назывался „комедией“ (от „комос“ — медведь). От веселых песен, плясок и шуток этого медвежьего карнавала пошло и позднейшее наше название комедии» [1, с. 40]. Это не случайный пассаж — о том же говорится и в других местах [1, с. 106, 363, 376; 2, с. 158, 667—668]. Греческая *χωριδία* не связана с культом медведя, *χῶρος* — не ‘медведь’, а ‘веселое, торжественное шествие’, ‘толпа гуляк’. Медведь по-гречески *άρκτος*. Весенний же праздник, в котором участвовали «комосы», назывался в Афинах «Великие Дионисии».

Право же, комедия! Какое-то несовременное, языческое отношение к данным языка и к лингвистике.

Должен сказать: меня все время не покидало ощущение, что эти два тома писал автор, безусловно талантливый, увлеченный, по-своему эрудированный и неутомимый. Но в то же время человек излишне самонадеянный, не очень затрудняющий себя проверкой, самоконтролем. Словом, ошибающийся так, как может ошибаться в печати только академик: у других такое просто не прошло бы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981.
2. Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. М., 1987.
3. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка (Перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева). Изд. 2-е. Т. I—IV. М., 1986—1987.
4. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 1—17. М., 1974—1991.



КИШКИН Л. С.

СРЕЗНЕВСКИЙ В СЛОВАКИИ (По материалам семейного архива)

Среди русских литераторов и ученых-филологов XIX в., особенно его первой половины, необычайно много для научного и культурного сближения русского и других славянских народов, для ознакомления русской общественности с разными сторонами жизни южных и западных славян сделал Измаил Иванович Срезневский (1812—1880). Большое значение для установления научных контактов и становления молодого ученого как слависта имело его пребывание в Чехии и Моравии (II—VII, XI—XII 1840 г. и I 1841 г.), а также Словакии (III—VII 1842 г.). Во время их посещения он знакомится с такими выдающимися чешскими и словацкими филологами и культурными деятелями, как Челаковский, Эрбен, Ганка, Палацкий, Коллар, Шафарик, Штур, Кузмани и многими другими. Впоследствии Срезневский не раз писал в русской печати 40—50-х годов о работах своих чешских и словацких коллег, посвященных языку, литературе, этнографии и истории.

Значительное место в научной и педагогической работе Срезневского принадлежит Словакии. В разных связях он часто использовал собственные материалы, собранные в Словакии. Они сохранились в его семейном архиве [1]¹. О некоторых из них уже сообщалось [3—9]², другие еще мало известны или неизвестны, не вошли в научный обиход. Привлечь к ним внимание — назначение настоящего сообщения.

На территории Словакии русский ученый, как свидетельствуют его дневниковые записи и подробные письма к матери [16, с. 281—316; 15, с. 61—95], находился с 19 марта по 12 июля 1842 г., при этом он выезжал на короткое время в Пешт и Эстергом (9—13 V). Последовательность передвижения Срезневского по словацкой земле (мы называем лишь наиболее значительные города, селения и места, в которых он побывал), была такой: Братислава (19 III), Модра (27 III), Братислава (2—23 IV), Девин (24 IV), Нитра (1—2 V), Мадуница (3 V), Трнава (4—5 V), Братислава (7 V), Штивница (14—19 V), Кремница (20 V), Гай (22 V), Мошовице (27 V), Блатница (29 V), Угревицы (2 VI), Тренчиц (6 VI) Жилина (7 VI), Сучаны (8 VI), Дольни Кубин (9 VI), Ясенова (10 VI), Ружомберк (10 VI), Липтовский Микулаш (13 VI), Гора Кривань (15

Кишkin Лев Сергеевич — д-р ист. наук, профессор-консультант Института славяноведения и балканстики АН СССР.

¹ Кроме этого семейного архива И. И. Срезневского есть еще его специальный фонд [2], где отложились документы, связанные прежде всего с научно-преподавательской и академической деятельностью ученого слависта, которые относятся главным образом ко времени его жизни в Петербурге. Далее прежде всего речь пойдет только о находящемся в Москве семейном архиве И. И. Срезневского, о словацких материалах, содержащихся именно в нем.

² Кроме этих работ, по теме отношения Срезневского к словакам и Словакии существует еще целый ряд статей, в которых в большей или меньшей мере используются материалы семейного архива ученого [10—15].

VI), Б. Быстрица (20 VI), Брезно (24 VI), Тисовец (29 VI), Ельшава (29 VI), Кежмарок (2 VII), Левоча (2—3 VII), Прешов (7 VII). Во время путешествия по Словакии он поднимался на вершины гор Ситно, Толстая, Плешивая, посетил легендарный Муранский замок, Оравский замок, руины замка у Тренчина, осмотрел Деменовскую пещеру, водопады у подножья Ломницы, побывал на берегах Вага, Гроне, Нитры, Руницы, Мурани, Попрада, Ревучанки, Оравы и других больших и малых словацких рек.

За время пребывания в Словакских землях русский ученый посетил Братиславскую, Нитранскую, Тренчинскую, Гонтиансскую, Зволенскую, Липтовскую, Оравскую, Гемерскую, Спишскую, Шаришскую и Земплинскую столицы. При этом он встречался и беседовал со множеством словаков-крестьян, мещан, ремесленников, шахтеров и, конечно же, представителей интеллигенции, среди которых были учителя, врачи, литераторы, немало священников (как евангелических, так и католических). В трудных условиях словацкой жизни 40-х годов прошлого века именно последние нередко вели научную и литературную работу, способствовавшую укреплению национально-патриотических чувств у тех, кто осознавал себя словаками.

Среди лиц, с которыми познакомился Срезневский во время своего путешествия, были Ян Бенедикт, Михал Босы, Михал Главачек, Михал Милослав Годжа, Ян Голый, Павел Йозеффи, Ян Калинчак, Карол Кузмани, Богуслав Носак, Ян Себерини, Ян Павел Томашек, Само Томашек, Гашпар Фейерпатахи, Само Халупка, Ян Халупка, Август Горислав Шкультеты, Карол Штур. Все эти люди так или иначе были связаны с литературной, научной и культурной жизнью Словакии. Каждый из них вносил свой, больший или меньший, вклад в дело национального культурного созидания и литературного развития. Существенно и то, что задолго до приезда в Словакию Срезневский познакомился и сблизился с Людовитом Штуром, Павлом Йозефом Шафариком, Яном Колларом, Мартином Гамульяком. Но и этими именами далеко не исчерпываются словацкие знакомства русского ученого. Среди них и племянник П. И. Шафарика — доктор Ян Шафарик, и мало теперь известный ученый Йонатан Доброслав Чипка, писавший стихи, и патриотически настроенный, не чуждый литературным занятиям священник Ондрей Шолтыс, и приятель Штура Цтибор Зох, и знаток народных песен врач Богумил Гвот, и «бедный скорняк» — брат Яна Коллара, с которым Срезневский был в Мошовце, и глава семьи, из которой вышли три брата-поэта, Йозеф Правдослав Белла, и преподаватель лицея в Левоче Ян Главачек, и собиравшие фольклорные тексты проповедники братья Адам и Ян Гловики, и многие, многие другие.

Путешествия, связанные с пими встречи и знакомства необычайно обогатили любознательного, проникшегося большой симпатией к словам Срезневского. Пожалуй, не было в 1840—1850-е годы в России человека, располагавшего такими обширными, как он, сведениями о Словакии, которыми ученый щедро делился и со своими студентами, и с читательской общественностью.

Среди архивных материалов, связанных с путешествием Срезневского по Словакии, множество памятных записей, которые делали ему словацкие знакомые (стихи, дружеские пожелания, автографы и т. д.)³, записные книжки и путевые заметки ученого на отдельных листах (в них содержатся записи пословиц, песен, отдельных словацких слов и выражений, названия книг, зарисовки пейзажей, костюмов, утвари, маршрутов передвижения).

Особую, довольно большую группу документов составляют тексты с образцами словацких диалектов (гомерского, малогонтского, дольноzemского, ратковского, шатацкого и т. д.), с записями народных песен, поговорок, пословиц, сказок, загадок, которые были подарены ученому

³ Подавляющее большинство памятных словакских автографов из архива Срезневского опубликовано в [3; 5].

его друзьями, а в некоторых случаях продиктованы. К этой группе примыкают и этнографические описания обычаяев (танцев, свадебных обрядов, празднования масленицы и т. д.), а также распространенных у словацких крестьян разновидностей повозок, плугов и т. п. Такого рода фольклорные, лингвистические и этнографические тексты подарили Срезневскому, например, Л. А. Гал, Я. Гловик, Я. Калинчак, А. Г. Крчмеры, Г. Б. Салаи, П. Скалозуб-Ямришка, Й. Шкультеты.

Специального упоминания заслуживают списки оригинальных сочинений словацких авторов в архиве Срезневского. Таковы посвященные русскому ученому стихи «На память» Л. Штура, Б. Носака, а также ряд подаренных ему стихотворений и пьеса «Свадьба под петухом» С. Томашика⁴.

Немалый интерес представляют незаконченные и законченные очерковые записки самого Срезневского, связанные с его поездкой по Словакии: «Путешествие по Дунаю весною 1842 года» (описание поездки на пароходе от Нейштадта до Братиславы, включающее заметки о пребывании в Вене), «Мое свидание с Яном Голым...» (см. [8; 16]), «Сонеты Яна Коллара», «Прощальная речь при отъезде из Венгрии» (см. [9]). В семейном архиве И. И. Срезневского имеются и письма словаков к нему (Б. Носака Незабудова — 1, за 1842 г. (см. [3—4]); Я. Коллара — 5, за 1842 и 1844 гг. (см. [6])); К. Кузмани — 2, за 1842 и 1855 гг.; П. Й. Шафарика — 18, за 1841—1856 гг. (см. публикацию В. А. Францева в [17]); Я. Шафарика — 3, за 1841—1869 гг.; Л. Штура — 9, за 1846—1859 гг. (см. [3—4]); М. Гатталы — 2, за 1864 и 1865 гг.; В. Кузмани — 1, за 1879 г.; Й. Меши — 1, за 1847 г.; П. Томашика — 1, за 1868 г.)⁵. Сохранилось в архивном наследии и несколько черновых копий писем самого Срезневского, обращенных к его словацким корреспондентам (в частности, к П. Й. Шафарiku и Л. Штуру), а также некоторые бумаги, подготовленные для него или присланные ему его словацкими знакомыми (таковы составленный П. Й. Шафариком список лиц, к которым он советовал русскому ученому обратиться, подготовленный им перечень местных славянских названий и имен, а также письмо Коллара к неустановленному лицу). Следует еще упомянуть три экземпляра рукописного текста на немецком языке, озаглавленного «Петиция словацкого населения Венгрии к императору Фердинанду I о замене венгерского языка словацким в школах с преобладанием словаков, об открытии кафедры славянских языков в Пештском университете» (1842) и отдельные листы рисунков Срезневского, сделанных в Словакии, например, вид Тренчанского замка, Саксенштейна на Гроне и др.

Среди рукописей лингвистического, этнографического и фольклорного характера, подготовленных словацкими друзьями для Срезневского, и разного рода его собственных записей в архиве сохранились тексты словацких народных песен и сказок. Их много, они заслуживают специального фольклористического рассмотрения. Поэтому мы ограничимся лишь перечнем некоторых из выявленных названий песен⁶ и сказок⁷, не членя их по диалектальным признакам⁸.

⁴ Упомянутые произведения, кроме пьесы, опубликованы в [3 — 6].

⁵ Названными лицами общее число словацких корреспондентов Срезневского не исчерпывается. В 60-е годы ему писали Йозеф Карол Викторин (1822—1874) и Йозеф Подградский (1821—1915); их письма находятся в [2, оп. 5, ед. хр. 109, 482].

⁶ Siroký järšok, bystra wodyška...; Ei dolu mi dolu...; Jšli rybari na rybu...; Krajal, kowal, cosi robil...; Stala ja na lodzi...; Ku mnje chlapci...; Suhaj, šuhaj, čo bys robil...; Ei laju mne...; Ani do nas šuhaj ne hodz...; Premileny ruží kvet...; Jšlo dzjewče lesom...; Ei dzewčota čujece...; Ei žala ja žala wiazala ja...; Nej ani ja nie juház...; Kočmar, kočmar mily kočmar...; Rajta, chlapci rajta...; Zabil Jaučí, zabil, zabil Modalenku...; A tam hore pod Janowom...; Bral še Janicko...; Jako še mi gaki teg nocí šen snil...; Mala matka šedzem synow...; Wisoko mesjačok...

⁷ O trech gablkach, O sklenom zámku, Adamko a Enička, O medwed̄ mackowi, O Wintalkowi, Janko, O gednom kralowi, O negkragšom synowi, O šwětskeg kráse, O ednom mladom princowi a edne zabiakowe dgewke, Powest o kralikowi, Powest o netepgebowi и др.

⁸ Кроме песен и сказок в архиве хранятся записи сотен словацких пословиц, поговорок, загадок, отдельных слов (около 7000) и выражений (свыше 700), что способствовало пробуждению интереса словаков к своему родному языку (см. [8]).

К упомянутым выше сочинениям словацких авторов в архиве Срезневского можно еще добавить образцы языковых текстов, полученных Срезневским от Людевита Августа Гала, Богуша Носака, стихотворные сочинения «Героида» и другие Гашпара Фейерштаки, а также принадлежащие неизвестному лицу «Шуточные стихи, сложенные к свадьбе».

Таковы некоторые общие сведения о путешествии Срезневского по словацким землям и сохранившихся в архиве русского слависта связанных с ним словацких материалах.

Перейдем к ознакомлению с теми из них, которые представляют определенный научный интерес, опуская при этом большое количество словацких автографов «на память», значительная часть которых опубликована.

Из очерковых рукописей самого Срезневского особый интерес представляют две: «Прощальная речь при отъезде из Венгрии» (см. [9]) и «Сонеты Яна Коллара», судя по содержанию, написанная в 1844 г. Приходим последнюю с некоторым сокращением: «Ян Коллар занимает одно из самых первых мест между современными писателями западно-славянскими по дарованиям, учености и деятельности столько же как по влиянию на соотечественников и по безграничному его увлечению всем, что носит на себе имя Славянское.

Родом он словак из местечка Мошевцев Турчанской столицы (*vargmedy, komitat*), сын небогатого мещанина, он учился сначала дома, потом в гимназиях Кременецкой и Быстрицкой, потом в семинарии Пресбургской и, окончивши курс наук Богословских, по обычаю венгерских протестантов поехал в Германию с целью усовершенствовать себя...

Литературную деятельность свою начал он еще до выезда в Германию опытами поэтическими и собиранием памятников народной словесности. Под влиянием своих учителей и возродившейся в то время литературы чешской, он развел в себе еще тогда любовь к своему народу и вообще к соплеменникам. В Германии эта любовь поддержанна была изучением тамошних памятников древле бывшего там Славянского быта и соединяясь с любовью к дочери лютеранского пастора Шмидта, Славянина по происхождению подобно многим из жителей Саксонии, выразилась в Мифоэпической поэме „Дочь Славы“, скоро доставившей сочинителю общую известность и уважение Западных Славян и упрочивши за ним то влияние, которое до сих пор он сохраняет на молодое поколение. Нельзя сказать, чтобы эта поэма, несколько раз подвергавшаяся переработке, была художественным произведением в целом: это собрание сонетов, расположенных больше случайно и в последнем своем виде разбитых на несколько картин... Одно только в чудной этой поэме остается неизменно — это чувство любви к соплеменникам, но его, конечно, слишком мало для того, чтобы произведение имело ценность... Другой важный недостаток поэмы это есть излишество увлечения, отчего поэма потеряла во многих местах свое художественное достоинство... Тем не менее есть в ней сонеты прекрасные, высказывающие дар поэта в полном блеске» [1, ед. хр. 905].

Как видим, статья Срезневского о сонетах Коллара, воздавая должное его заслугам как поэта, содержала и некоторые критические замечания. Они имели одновременно и субъективный, и объективный характер. Как читатель, воспитанный на других литературных образцах, русский ученик оказался не вполне готов к восприятию тогда еще новой формы лироэпической поэмы. Говоря о случайном расположении сонетов, Срезневский не вполне учитывал, что поэма печаталась в меттерниховской Австрии, и это побуждало поэта к осторожности, что отразилось и на композиции произведения. Но ученый был по сути прав, отмечая неравноценность сонетов Коллара, составивших второе (пятичастное) издание поэмы «Дочь Славы» (1832). Об этом писали в свое время и другие авторы, в частности Ф. Л. Челаковский, полагавший, что в последних частях поэмы сонеты «вянут и хладеют» ввиду смешения филологии и поэзии.

Высказав свои замечания в адрес поэмы Коллара, Срезневский в то же время называет ее «чудесной», а многие из составляющих ее сонетов —

«прекрасными», обращает внимание на пронизывающее поэму «чувство любви к соглесенникам». Сообщая в своей заметке сведения о жизни и творчестве Коллара, полученные от него самого, русский ученый пишет об авторе «Дочери Славы» с глубоким уважением, дает высокую оценку ему как поэту и общественному деятелю.

Заслуживающим внимания представляется в архиве Срезневского черновой, оставшийся неоконченным, набросок его письма к П. И. Шафарику от 18 декабря 1841 г., когда Срезневский находился в Вене: «Как я виноват, незабвенный Павел Осипович, что не написал Вам ни строчки в продолжении столь долгого времени⁹. Оправдываясь поздно. Одно скажу Вячеславу Вячеславовичу¹⁰, я пишу прямо набело, не задумываясь, что придет в голову, и дело обычно ограничивается мелочами, новостями, Вам напротив хотелось бы мне писать хоть и мало, но подумавши» [1, ед. хр. 1135]. Приведенные строки письма показывают, сколь различным было отношение русского ученого к Ганке и Шафарику, что объяснялось не столько разницей в возрасте с последним (Ганка тоже был старше его), сколько признанием его больших научных заслуг. Ведь именно Шафарик был одним из первых наставников Срезневского, когда он начал в Праге обстоятельно изучать языки, историю и культуру славян.

Новый дополнительный свет на взаимоотношения И. И. Срезневского с Л. Штуром проливает копия письма русского ученого к нему, начатого 12 мая 1842 г. в Эстергоме, а завершенного 21 мая в Кремнице (написано по-русски буквами чешского алфавита). О многом говорит уже его начало: «Милый мой друг и брат Людевит! Как мы путешествовали в Пешт, как провели время там, как ворочались назад, расскажет тебе брат Михаил¹¹. Я начинаю письмо Ostrigomon 12 мая. Тяжко оставаться одному, привыкши к избранному родному кругу. Горестно, грустно было мне говорить вам в последний раз „прощайте“ в Братиславе, но тогда со мной оставался еще милый брат Миша. Тут я ...остался совершенно один...» [1, ед. хр. 1140а]. Далее в этом большом письме Срезневский делится со Штуром своими впечатлениями от знакомства со Словакией, размышляет о происхождении названия горы Ситно, сообщает о загадочной надписи на церковном сосуде, который видел в Кремнице.

Несомненную научно-историческую ценность имеет и находящееся в архиве Срезневского письмо Коллара к неизвестному лицу, очевидно переданное русскому путешественнику кем-то из его словацких знакомых в Трнаве¹². Оно воссоздает достаточно широкую картину словацкой жизни своего времени и обогащает биографию Коллара. Письмо занимает три больших мелко исписанных страницы. Оно не только подробно характеризует историческую обстановку, в которой жили словаки в первой половине XIX в., содержит ряд конкретных фактов притеснения словаков и их борьбы за свои права, но и, что не менее важно, является документальным свидетельством патриотических и демократических взглядов Коллара, его активного гуманизма, дополняя, таким образом, наши представления о нем как исторической личности и культурно-общественном деятеле. Вот только несколько строк из этого письма относительно освободительной борьбы в Словакии: «Я ненавижу слепое без-

⁹ Срезневский знал труды Шафарика еще будучи в России, а познакомился с ним в Праге в феврале 1840 г. «Он обращается со мной как родной», — писал Срезневский о первой встрече, за которой последовала многолетняя переписка.

¹⁰ Имеется в виду Вацлав Ганка.

¹¹ По всей видимости здесь говорится о Михаиле Мислославе Годже.

¹² О том, что адресат, возможно, являлся жителем Трнавы или ее окрестностей, позволяет думать упоминание Трнавы в конце письма. Однако, находясь вдали от словацких библиотек и архивов, автор настоящего сообщения затрудняется установить его имя, как и точную датировку письма. Это с успехом смогут сделать словацкие исследователи, ознакомившись с содержанием письма и связав его с событиями словацкой жизни. Если в письме Коллара упоминается глава династии словацких скульпторов — Вавржинец Дунайский (1784—1833), а не один из его сыновей (Ян Вавржинец), то по времени оно может относиться к началу 1830-х годов. В этом случае Коллар должен был писать о современных или почти современных письму событиях, а не о том, что было в отдаленном прошлом. Возможна датировка письма и по другим признакам.

рассудство и фанатизм, однако всегда и везде надо опираться ... на разумную стойкость и бесстрашие, на открытое провозглашение всему миру того, что в сердце и сознании правильным считаем... До тех пор пока мы не воспитаем активных спартанцев и несгибаемых черногорцев, ничего у нас не будет... Если мы поднимем Словакию из гроба к жизни, будет это одна из прекраснейших ветвей на дереве Славии, свежайших и чистейших» [1, ед. хр. 1477].

По сравнению с уже опубликованными письмами к Срезневскому (Носака, Коллара, Штура, П. Й. Шафарика), адресованные ему письма К. Кузмани (3 VII 1842; 3 VII 1851) [1, ед. хр. 1484], Я. Шафарика (25 XI 1841; 30 IX 1869; 25 III 1869) [1, ед. хр. 1545], Й. Меши (24 VIII 1847) [1, ед. хр. 1561], М. Гаттала (8 V 1864; 11 VII 1865) [1, ед. хр. 1457], П. Томашика (26 V 1868) [1, ед. хр. 1536] и В. Кузмани (14 VI 1879) [1, ед. хр. 1481] несут в себе значительно меньшую культурно-историческую информацию и во многом имеют чисто личный характер. Однако и они по-своему интересны, так как свидетельствуют о добрых дружеских отношениях с русским ученым его словацких корреспондентов. Так, например, в своем первом письме К. Кузмани сообщает Срезневскому, как обещал при встрече, слова, которыми пользуется сам народ, которых нет в словаре Юнгманна, а если есть, то в ином смысле (*beseda* = *wrawa* = разговор, *baňš'ak* = suma бедных и т. д.). Во втором довольно пространном письме К. Кузмани с удовольствием вспоминает о своих встречах с И. И. Срезневским и П. И. Прейсом, пишет об усилении «мадьяромании», сообщает о своей жизни и просит прислать тексты нескольких русских и украинских народных песен для сборника, который намерен издать его старший сын Владислав.

Корреспонденция жившего в Новом Саде Яна Шафарика касается по большей части вопросов сербской жизни и культуры. Блатницкий священник Йозеф Меша, с которым Срезневский в мае 1842 г. поднимался на гору Толстую, спустя много лет благодарит его за письмо, выражает свои дружеские чувства, сообщает о распространении нового словацкого языка, пишет о том, что с нетерпением ждет от Срезневского подготовляемый им Словарь. В первом письме Мартина Гаттала говорится о его статье, посвященной русской грамматике. Он просит Срезневского прислать ему копию списка «Слова о полку Игореве» для сопоставления его с Краледворской рукописью, благодарит за рецензию на книгу «*Mluvnice jazyka slowenského*». О статье Григоровича «Очерк путешествия по европейской Турции» пишет Гаттала во втором своем письме. Письма сыновей К. Кузмани — Владислава и С. Томашика — Павла содержат просьбы помочь устроиться на службу в России.

В заключение краткого обзора пока не ставших достоянием научной общественности словацких материалов из архива Срезневского приведем еще отрывок из автографии его малоизвестного письма к Вацлаву Ганке из Братиславы от 10 августа 1842 г.:

«...Из моих воспоминаний о пути по Словенской Венгрии и Галиции сообщу Вам только несколько замечаний... Литераторы и другие люди держатся народной стороны и там и здесь, отличаются благородной нравственностью в жизни частной и общественной и образованием ума... Между словаками выше всех ставлю Голого и Штура... Я желал бы только, чтобы Голый не был так односторонен в понятиях о формальности, чтобы Штур имел более времени для своих учевых занятий...

В путешествии моем я был очень счастлив, собрание народных идиотизмов и описаний всего, что касается народных жизни и быта, если не богато, то по крайней мере и не бедно: всюду находил я помощь. Особое внимание обратил на наречие и народности словаков: под Татрами и Бескидами наблюдатель находит еще так много нового и любопытного, что мог бы остаться там на два на три года и все бы еще не вычерпал рудники сокровищ неоценимых для филолога, этнографа, историка» [1, ед. хр. 1043]. Так высоко оценил научные результаты своего пребывания в Словакии в 1842 г. Срезневский. Собранные тогда материалы на протяжении многих лет использовались им в научных трудах и особенно

в лекциях, которые он читал студентам¹³, что в целом существенно обогащало русскую общественность сведениями о жизни братского словацкого народа, в частности о его языке, народной словесности и литературе.

Срезневский одним из первых русских проявил всесторонний дружеский интерес к жизни словацкого народа, который он искренне полюбил. В тексте его прощальной речи при отъезде из Словакии содержатся слова: «Оставляя Венгрию и словаков, не могу отказать себе в удовольствии еще раз проститься с вами, пезабвенные друзья и братья, и еще раз засвидетельствовать вам искреннюю признателность мою за братский прием, которым вы почили меня, и помочь, которую вы мне оказывали в изучении вашего языка и ваших народностей. Питаю признателность к вам, пытаю вместе в сердце моем и надежду, что ваше дружество, идя путем, которым начало идти так смело и твердым шагом, будет служить не одному народу словенскому, не одному обществу литературы благотельным примером. Ваши понятия о народности должны будут в свое время сделаться господствующими и в вашем кругу принесут драгоценные плоды на жертвенник словенской образованности» [1, оп. 1, ед. хр. 57]. Таким виделось русскому ученому будущее словацкого народа.

В целом словацкие материалы в семейном архиве Срезневского можно рассматривать как документальное свидетельство дружеского и сочувственного отношения русского ученого к словацкому народу, вступившему на путь борьбы за национальное освобождение и национальную культуру. В то же время документирующие пребывание Срезневского в Словакии архивные бумаги убеждают в том, сколь широки были интересы молодого ученого, говорят о его исключительной добросовестности и необычайном трудолюбии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Центральный Государственный Архив литературы и искусства в Москве, фонд 436, оп. 1.
2. Ленинградское отделение Архива АН СССР, ф. 216.
3. *Slovenský sborník*, 1947, č. 3—4, s. 119—142, 142—162.
4. *Brtaj R. Slováci a Sreznevskij*. — In: *Slovensko-slovanské literárne vzťahy a kontakty*. Bratislava, 1979, s. 41—58.
5. Кишкун Л. С. Чешские и словацкие автографы в архиве И. И. Срезневского. — В сб.: Славянский архив. М., 1962, с. 159—170.
6. Кишкун Л. С. Письма Коллара. — *Slavia*, 1965, с. 283—288.
7. Кондрашов Н. А. Материалы для словаря наречий горных словаков, собранные И. И. Срезневским. — *Jazykovedný časopis*, 1958, с. 103—116.
8. Кондрашов Н. А. Словацкие материалы в архиве И. И. Срезневского. — Филологические науки, 1959, № 4, с. 160—168.
9. *Dostal' M. J. Rozloučková reč I. I. Sreznevského pri odehode zo Slovenska* r. 1842. — *Historické štúdie*, 1979, № XXIII, с. 197—199.
10. Кондрашов Н. А. О роли русских славистов в возникновении словацкого литературного языка. — *Jazykovedné štúdie*, 1971, № XI.
11. Досталь М. Ю. Проблемы чешской и словацкой филологии и истории в лекционных курсах И. И. Срезневского. — В кн.: Общественно-политические движения в Центральной Европе в XIX—XX вв. М., 1974.
12. Досталь М. Ю. Библиографические заметки И. И. Срезневского о книгах чешских и словацких ученых в «Известиях ОРЯС АН». — Советское славяноведение, 1975, № 2.
13. *Dostal' M. J. I. I. Sreznevskij a slovaci v 40. az 70 rokoch 19 storocia*. — *Historické štúdie*, 1980, № XXIV.
14. Лациок М. Русская славистика и словацкий язык. — Советское славяноведение, 1968, № 2.
15. *Stanislav J. Z rusko-slovenských kultúrnych stykov v časoch Jána Holleho a L'udovítu Stúra*, Bratislava, 1957.
16. Путевые письма Ильи Ивановича Срезневского из славянских земель. 1839—1842. СПб., 1895.
17. Korespondence Pavla Josefa Šafaříka. Čast II. Praha, 1927.
18. Срезневский В. И. Краткий очерк жизни и деятельности И. И. Срезневского. — В кн.: Памяти И. И. Срезневского. Кн. 1. СПб., 1916

¹³ Так, например, сохранились записи лекционных курсов Срезневского «История наречий чешского и словацкого» [2, оп. 1, д. 774]; «Наречия чешского и словацкого» [2, оп. 1, д. 802]; «Лекции по славянским наречиям» [2, оп. 3, сд. хр. 1453], в которых говорилось и о литературе, в частности о Колларе, Штуре, Голом. Любопытно, что среди работ, записанных студентами Срезневского, встречаем такую: «Об остатках славянской древности в мифологических и исторических песнях словаков» [2, оп. 3, ед. хр. 593]. Подробнее о лекциях Срезневского, содержащих сведения о словаках см. [18].



МАРОЕВИЧ РАДМИЛО

ПЕРВЫЕ РУССКИЕ ПЕРЕВОДЫ ХАСАНАГИНИЦЫ (поэтическая полемика Востокова и Пушкина)

I

Востоковский перевод Хасанагиницы опубликован в 1827 г. под павлением *Жалобная песня благородной Асан-Агиницы*. Оригиналом ему послужила *Жалосна пјесна племените Асан-агинице* (в редакции Вука Караджича), напечатанная в сборнике *Мала простонародъа славеносрпска пјесницица* в 1814 г.¹ К переводу русский филолог и поэт дает следующее примечание: «Мы употребили здесь русский сказочный размер, с дактилическим окончанием». Русские народные песни в три просодических периода (такта) и с дактилической клаузулой («стихи о трех ударениях дактилического окончания») подробно описаны в востоковском «Опыте о русском стихосложении». Он называет их *эпические, сказочные или повествовательные стихи русские* [3, с. 107, 139]. Позднее песни такого типа в научной литературе были названы *былинами*.

Первая метрическая константа востоковского перевода — т р е х т а к т н о с т ь с т и х а : три метрически определяющих ударения в каждом стихе. При этом стих может иметь один или два (реже больше) внедактилических ударения:

*Молода-женá | прийтí | постыділася²
Лицом-бóльм | о сырú-зéмлю | удáрилась³.*

Таким образом в стихе осуществляются три «прозодических периода» (по терминологии Востокова), или три синтагматических ударения как метрические сигналы.

Вторая метрическая константа востоковского перевода — д а к т и л и ч е с к а я к л а у з у л а , по которой этот перевод отличается от других переводов Востокова из сербской народной поэзии, имеющих хореическое (женское) окончание. Следовательно, этот перевод можно рассматривать как своеобразный эксперимент. В русских эпических народных песнях дактилическое окончание может варьироваться с гипердактилическим: у третьего ударения (последнего), т. е. икта, постоянное

Мароевич Радмило — д-р филол. наук, ординарный профессор Белградского университета.

¹ Фототипическое воспроизведение переводов А. Х. Востокова и их сербских оригиналов, снабженное вводной статьей, комментариями и литературой, см. в [1]. О поэтике востоковских переводов см. также [2].

² Слова с неметрическим ударением обозначены курсивом и присоединены дефиксом к словам, имеющим метрическое ударение.

³ Дактилическое прочтение словосочетаний *молода жена*, *о сырú зéмлю*, которыми заканчивается былинный стих, дает возможность по-другому интонационно воспроизводить и востоковские стихи: *Молодá-женá | прийтí | постыділася; Лицом-бóльм | о сырú-зéмлю | удáрилась.*

место на третьем слоге от конца: — $\cup\cup$ (редко на четвертом: — $\cup\cup\cup$) [3, с. 145]. Гипердактилическая клаузула встречается в переводе Хасанагиницы как ритмический курсив:

Кабы лёбеди | бáли, | улетéли-бы-прочь.

Внеметрическое ударение на последнем слоге в этом переводе встречается неизмеримо чаще, нежели в песнях с женской клаузулой (в 40% стихов):

«Коли-лíбíшишь-меня, | бráтец, | прошú-тебя,
Не могí | менá | ни за кого-отдáть,
Чтоб сérдце | не раstóрглося | злóй-тоской,
Когда | увýжу | сирбt-своих».
Но бráт | не уváжил | мольбá-еe.

Ритмическая инерция дактилической клаузулы настолько сильна, что нейтрализует метрическое воздействие последнего ударного слога в выше-приведенных стихах. Востоков, анализируя русские былины, подчеркнул, что ударение никогда не может быть на последнем слоге и добавил: «ежели долгий или с ударением слог и придется когда в конце стиха, то он сокращается, по законам периода прозодического» [3, с. 109, см. также примеры на с. 147]. Конечное ударение, правда, не пропадает совсем, а лишь интонационно слабеет, но важно то обстоятельство, что на последнем слоге не может стоять метрическое, определяющее ударение (икт).

Следует иметь в виду, что Востоков стихи с сербскохорватской ономастикой прочитывает с дактилической клаузулой:

«[...] То-éдет | не отéц | Асáн-Ага,
Едет | дáдя | Пинторóвич-Бег».
Успокóилась | тогдá | Агýница.

В русском эпическом стихе, т. е. в трехударном стихе с дактилической клаузулой, первые два метрических ударения «не имеют постоянного места» [3, с. 143]. «Первое ударение сказочного стиха русского может переходить с 1-о слога на 2-й, и так далее, даже на 5-й слог» [3, с. 144]. Это непостоянство анакрузы особенно подчеркнуто в первом куплете Хасанагиницы:

Что-белéется | у рóщи | у зелёныя?
Снéг-ли-то | или белые | лéбеди? [...]
Не снéг-то, | не белые | лéбеди,
А белéется | шатёр | Асáн-Аги,
Где-он-лежít | тáжко | ráненый.
Его-мáть | и сестрá | посещáли-tam;
Молода-женá | прийтí постыдýлася.

В приведенном отрывке анакруза имеет от нуля (второй стих) до четырех слогов (последний стих), т. е. первый икт падает на первый, второй, третий, четвертый или пятый слог. Но все же в целой песне доминирует двухсложная анакруза (анапестический зачин) — 49 из 88 стихов. Несколько реже представлена односложная анакруза (32 стиха), в то время как пульевая представлена лишь четырьмя стихами (два стиха имеют трехсложную анакрузу, и только один, которым завершается первый куплет, имеет, как мы видели, четырехсложную анакрузу).

Место второго икта в трехтактном русском народном стихе, а следовательно и длина первого и второго интервала, не определены. Правило, по которому между первым и вторым иктами расположен хотя бы один неударный слог, имеет исключения. Русский стиховед подчеркивает, что среди эпических песен есть и такие, где «одно ударение непосредственно следует после другого» и приводит этому примеры [3, с. 144, сноска]. Один такой пример содержит и перевод Хасанагиницы:

Где-он-лежít | тáжко | ráненый.

О таких примерах Востоков говорит: «Сии стихи неиначе произносить можно как с остановкою голоса (pause) которая заменит недостаток краткого слога между двумя ударениями» [3, с. 144, сноска].

Обращение к стиху с дактилической клаузулой неминуемо должно было привести к отказу от десятисложности как ритмической тенденции, равно как и от постоянной цезуры. Таким образом стих этой песни в сравнении с остальными востоковскими переводами ритмически дальше всех от сербского десятисложника. Русский эпический стих насчитывает от семи до тринадцати слогов [3, с. 143]. Силлабический диапазон Хасанагиницы Востокова несколько уже: доминируют одиннадцатисложники (27), несколько менее двенадцатисложников (21) и десятисложников (19); стихов с девятью слогами — 14, а с тринадцатью — 7. Средняя длина стиха (10, 86 слога) указывает на одиннадцатисложность как на неярко выраженную тенденцию. Это означает, что употреблением дактилического окончания русских былин в стихе силлабическая структура расширена на один слог.

В переводе Востокова мы встречаемся со «стихотворческими вольностями и фигурами», которые русский стиховед оправдывает требованием «стихотворной меры» [3, с. 148]. Сегодня мы не беремся утверждать, что эти поэтические фигуры были *вызваны к жизни* лишь требованиями метрики, но сказали бы, что они сохранились из ритмико-метрических причин: речь идет об архаических формах из более ранней эпохи исторического развития русского языка. Из поэтических вольностей и фигур русской народной поэзии в этом переводе особенно часто употребляется окончание *-ья* вместо *-ой* в родительном падеже женского рода прилагательных:

Что белеется *у рощи у зеленая?*
Только, вынув *из сумы из шелковая*
И тогда же, от *безмерная* жалости

и постфикс *-ся* вместо *-сь* в формах возвратных глаголов с окончанием на гласный:

Молода жена прийти постыдилася
«Постой, не мечися матушка [...]»
Чтоб в материн дом *возвратилася*.

Кроме всего, первые два примера иллюстрируют повторение предлогов, а четвертый — употребление стяженных форм имен прилагательных.

Поэтическое слово сербского фольклора *љуба, љубовца* Востоков здесь заменяет синтагмой *молода жена* (дательный падеж *молодой жене*), в то время как турцизм *kaduna* переводится нейтральным *жене*.

Возникает вопрос: почему Востоков для типичной баллады, какой является Хасанагиница, выбрал русский эпический стих с дактилическим окончанием (стих русской былины, согласно позднейшей терминологии)? Косвенный ответ на этот вопрос мы находим в его «Опыте о русском стихосложении». Востоков говорит, что эпическим метром написаны русские романсы и что он может быть применен и в литературной поэзии: «Сказочный русский стих, будучи сам по себе разнообразнее песенных, был бы удобнее для поэмы,— не для героической конечно, а для романической, во вкусе Ариоста либо Виланда» [3, с. 164].

II

Перевод первой части Хасанагиницы был сделан Пушкиным в 1835 г. (первые 26 стихов) и не увидел свет при жизни поэта. Публикуется без названия, по первой строке «Что белеется на горе зелено?...». Будучи поэтически необработанным и фрагментарным, пушкинский перевод тем не менее имеет большое значение для истории переводов сербских народных песен, для поэтики перевода, но прежде всего для поиска ритмиче-

ского эквивалента сербскому эпическому десятисложнику. Пушкин для своего перевода избрал русский тонический стих с *женской* клаузулой. Это было своеобразной художественной полемикой Пушкина с Востоковым в вопросе поэтического решения перевода Хасанагиницы. При этом следует иметь в виду, что Пушкин в поэтическом споре воспользовался оружием Востокова — теорией русских лирических песен трехударного стиха с женским окончанием, примененного в остальных востоковских переводах из сербской народной поэзии.

Первая метрическая константа пушкинского перевода (равно как и востоковского) — *трехтактность стиха* — три метрических ударения в каждом стихе. При этом стих может иметь одно, реже два и, как исключение, три *внemetрических* ударения:

Что белеется | на горé | зелёной?
Снег-ли-то, | али лебеди | бёлы?
Выл-бы-снёт | — он-ужé бы | растáил,
Выли-б-лебеди | — ой б | улетéли.
То-не-снёт | и не лебеди | бёлы,
А шатёр | Агý | Асан-áги.
Он-лежйт-в-нем, | весь-лóто | изрáнен.
Посетíли-его | сестrá | и мáтерь,
Его-лóба | не моглá, | застыдилась.
Как емý | от боли | стало-лéгче,
Приказáл-он | своей-вérной | любe:
«Ты-не-ищí-меня | в моем-бéлом | дóме,
В белом-дóме, | ни во всём | моем-róде».
Как услышала | мýжинны | рéчи,
Запечáлилась | бéдная | Кадúна.
Она-слýшишт, | на двóр | едут-кóни,
Побежáла | Асáн- | агíница,
Хочет-брóситься, | бéдная, | в окóшко,
За ней-вопят | две-мíлые | дóчки:
«Воротíся, | мíлая-мáть | нáша,
Приéхал | не мýж | Асан-áга,
А приéхал | брат-твой | Пинторóвич».
Воротíлась | Асáн- | агинíца,
И повíсла-она | брату | на шéю —
«Братец-мíлый, | что за | посрамлéнье!⁴
Меня-гónят | от пятерых | дéток» (Цит. по [4]).

В связи с нашей интерпретацией распределения иктов мы должны дать три следующих примечания:

1. Мы не абсолютизуем правило Колмогорова, согласно которому «первым метрическим ударением является последнее из ударений, падающих на первые три слога» [5], и считаем, что в стихе:

Снег ли то, али лебеди белы?

икт на первом, а не на третьем слоге; и что в стихе:

«Ты не ищи меня в моем белом доме, [...]»

метрическое ударение падает на четвертый, а не на первый слог.

2. В стихе:

За ней волят две милые дочки

⁴ Стих можно считать ритмическим курсивом и произносить его с двумя ударениями: Братец-мíлый, | что за-посрамлéнье! Нам кажется, однако, что ритмическая инверсия трехтактного стиха настолько сильна, что третье ударение чувствуется и в слабых позициях. Можно было бы также предположить, что определение *мíлый* интонационно отделено от существительного *братец* (Братец | мíлый, | что за-посрамлéнье!), но такое прочтение не подтверждается пунктуацией пушкинского автографа и нарушает правило Колмогорова.

мы выбрали ударную форму *вопят* вместо современного *вопйт*, так как в языке Пушкина зафиксирована форма *вопит* [6, с. 352].

3. Стихи с сербскохорватской ономастикой и турцизмами мы читаем с женской клаузулой:

А шатер Аги Асан-ѓиги
Запечалилась бединая Кадуна
Побежала Асан-агиница

В первом из приведенных стихов лексема *ага* имеет различное ударение при употреблении в изолированном виде и в составе сложного слова. На предпочтение ударного варианта *Асан-ѓига* указывает женская клаузула, в то время как в языке Пушкина зафиксирован вариант *ага* [6, с. 28]. Тем самым избегается нулевой интервал между первым и вторым иктами.

Вторая метрическая константа пушкинского перевода — же и с-ка я клаузула (в отличие от дактилической у Востокова). При этом на клаузуле нет внеметрических ударений, как у Востокова.

Распределение иктов у Пушкина носит более упорядоченный характер. В его переводе анастический зачин (т. е. двухсложная анакроза) является сильной ритмической доминантой (представлена в 23-х стихах, в трех остальных — нулевая, односложная и трехсложная). На анакрозе, однако, в каждом втором стихе появляется внеметрическое ударение, вызывающее ритмический эффект замедления. Первый интервал насчитывает от одного до четырех слогов (два слога в одиннадцати стихах, три в семи, один в пяти и четыре в трех стихах). Второй интервал чаще всего бывает двухсложным (в 15-и стихах), реже трехсложным (в 6-и) и односложным (в 4-х стихах); только в одном случае этот интервал нулевой — в завершающем стихе, который представляет собою ритмический курсив. Таким образом пушкинский стих можно охарактеризовать как прототип тактовика⁵.

Пушкинский перевод с силлабической точки зрения более однороден: в нем более всего стихов с десятью слогами (15); одиннадцатисложных стихов — 8, в то время как двенадцатисложный стих появляется лишь один раз, а девятисложник — дважды. Таким образом десятислогность является ритмической доминантой (57,7%), об этом говорит и средняя длина стиха (10,35 слога). Это означает, что пушкинский стих ближе к сербскому десятисложнику, нежели востоковский. Между тем, цезура после четвертого слога не выражена, даже в качестве ритмической тенденции.

Перевод Пушкина также не свободен от «стихотворческих вольностей и фигур», но в нем представлены лишь некоторые из них:

а) стяженные формы прилагательных:

Снег ли то, али лебеди белы?
То не снег и не лебеди белы

б) постфикс *-ся* после гласных:

«Воротися, милая мать наша, [...].»

Форма *белы* (вместо *белые*) диктуется женской клаузулой, а форма *воротися* (вместо *воротись*) помогает избежать нулевого первого интервала. Это значит, что так называемые «стихотворческие вольности и фигуры», как их называл Востоков, в пушкинском переводе появляются реже и не производят такого впечатления архаичности, какое производят формы на *-я* или повторение предлогов у Востокова.

Турцизм *Кадуна* Пушкин сохраняет (и пишет его с прописной буквы), *љубу* и *љубову* передает словом *люба*, опираясь в этом случае на пример Востокова из другого перевода. В переводе песни *Братъя Якичи* Вос-

⁵ Тактовик определяется как разновидность тонического стиха с колебанием интервалов между двумя иктами в диапазоне 1—2—3 слога [7].

токов употребил именно это слово (Призвал любу свою, Ангелию) и снабдил его следующим примечанием: «Люба, по-сербски: жена, супруга. Мы позволили себе употребить и в русском переводе сие поэтическое слово» [1, с. 61]. Хотя и в русском фольклоре встречается слово *люба* в несколько ином значении («любовница») [8], можно считать, что Востоков это слово позаимствовал из сербского фольклора, а его решением воспользовался и Пушкин.

Со своим тонким ощущением ритма и системы поэтических образов Пушкин у своего предшественника Александра Востокова перенял и художественно усовершенствовал то, что ему казалось наиважнейшим с точки зрения поэзии: а) использовал сформулированную и примененную на практике поэтику трехтактного тонического стиха с женской клаузулой, чтобы дать свой вариант фрагмента Хасанагиницы, которую Востоков перевел стихом с дактилическим окончанием; б) дал десятисложность как ритмическую доминанту, выбрав среднее решение между песней *Марко кралевич в темнице* и остальными востоковскими переводами (ближе всех к пушкинскому стиху стих песни *Смерть любовников*); в) осуществил в качестве ритмической доминанты анапестический зачин, т. е. двухсложную анакрезу, опираясь прежде всего на востоковский перевод *Яня мизиница*; г) Пушкин в меньшей степени, чем Востоков, пользовался архаичными языковыми средствами русской фольклорной и литературной традиции, но, в свою очередь, шире использовал фольклорные образы сербского оригинала (включая и турцизы); д) Пушкин не нарушил ритмическую структуру фольклорного стиха переносами, как это кое-где делал Востоков в своих переводах (включая сюда и Хасанагиницу).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Маројевић Р.* «Сербскія пѣсни» Александра Востокова. Горњи Милановац, 1987.
2. *Мароевич Р.* Между Вуком и Пушкиным — переложения сербских народных песен А. Х. Востокова. — Советское славяноведение, 1990, № 1, с. 49—57.
3. *Востоков А.* Опыт о русском стихосложении. Изд. 2-е. СПб., 1817.
4. *Пушкин [А.]*. Полное собрание сочинений. Т. 3, 1. М., 1948, с. 377.
5. *Колмогоров А.* О метре пушкинских «Песен западных славян». — Русская литература, 1966, № 1, с. 99.
6. Словарь языка Пушкина. Т. I. М., 1956.
7. *Гаспаров М. Л.* Современный русский стих: Метрика и ритмика. М., 1974, с. 371.
8. Словарь русских народных говоров. Вып. 17. Л., 1981, с. 233.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

АНГЕЛОВ П. *Българската средновековна дипломация*. София, 1988, 197 с.

АНГЕЛОВ П. *Болгарская средневековая дипломатия*

Монография доцента Софийского университета Петра Ангелова посвящена мало разработанной в научной литературе теме — дипломатии средневекового Болгарского государства на протяжении всего времени его существования — от складывания в конце VII—IX вв. до османского завоевания в конце XIV в. Свою задачу автор видит в рассмотрении болгарской средневековой дипломатии как системы реализации целей внешней политики государства через специальные институты, функционеров, конкретные методы и формы, опиравшиеся на определенные теоретические принципы и идеино-политические аргументы. Типологический анализ этой системы, по мнению Ангелова, дает возможность более рельефно очертить роль дипломатии в политическом развитии средневековой Болгарии, охарактеризовать цели и принципы, которыми руководствовались болгарские государи во внешнеполитической деятельности, исследовать отражение в дипломатии мировоззрения средневековых болгар. Автор исходит из представления о континuitете и преемственности в развитии средневековой болгарской дипломатии в рамках всего рассматриваемого периода, что позволяет ему обращаться к историческим фактам не в хронологической последовательности, а в зависимости от их значимости и представительности для иллюстрации того или иного тезиса. Критикуя «византиноцентристский» подход некоторых ученых к истории болгаро-византийских отношений, Ангелов специально оговаривает в предисловии, что средневековая болгарская дипломатия рассматривается им как оригинальное явление, а не как «функция или несовершенное подражание» дипломатии Византии (с. 13).

Первая глава отведена для источниковедческого очерка, целью которого является «общий типологический обзор наиболее важных видов исторических источников» для исследования болгарской средневековой дипломатии. Выделяются и анализируются международные договоры, дипломатическая корреспонденция, посольские доклады, уделено внимание историко-летописным памятникам и агиографическим произведениям, созданным в Болгарии и за ее пределами. Представительность обзора не восполняет, однако, отсутствия в нем собственно типологического анализа источников, например, классификации международных договоров Болгарии, а также исследования их формуляра и т. д.

Во второй главе освещается дипломатия славян и протоболгар в VI—VII вв. Автор ставит перед собой цель — проследить формирование ранних дипломатических традиций как в контактах славян и протоболгар с Византией, так и в их отношениях друг с другом и с соседними народами и государствами. Ангелов пишет о знакомстве славян и протоболгар с формами и методами византийской дипломатии по отношению к «варварским» народам, о формировании посольской практики, освоении некоторых элементов искусства вести переговоры. Устный характер дипломатической практики, по мнению автора, отвечал примитивному уровню и механизму контактов, сводившихся к достижению однократных и недолговечных соглашений о мирной переговорке, уплате данни или совместных военных действиях. Как считает Ангелов, «противоположные политические цели, которые преследовали византийцы и славяне (а также и протоболгары.— Д. П.), исключали наличие долговременных и

всесторонних дипломатических соглашений» (с. 37).

В третьей главе рассматриваются цели и принципы болгарской средневековой дипломатии. Главной стратегической задачей политики болгарских государей, соответственно определявшей первостепенные цели дипломатии на протяжении всей средневековой эпохи, Ангелов считает защиту и укрепление территориальной целостности государства. В различные периоды истории Болгарии эта цель конкретизировалась в определенных внешнеполитических задачах. В VII—IX вв. это было территориальное расширение страны, направленное на включение в ее границы славянских областей Фракии и Македонии. В царствование Симеона главной целью стало достижение Болгарии гегемонии на Балканах с выходом к побережьям трех морей. В период Второго Болгарского царства тырновские государи, начав с восстановления границ Болгарии времен Симеона, впоследствии были вынуждены ставить более скромные цели — сохранение целостности страны и обеспечение экономических и торговых интересов болгарских феодалов в условиях растущей политической раздробленности. На второе место в иерархии целей болгарской внешней политики автор ставит защиту и укрепление суверенитета страны и самостоятельности болгарской церкви. Приводя в качестве примера борьбу Аспаруха и первых Асеней за международное признание Болгарии, а также усилия Бориса I, Калояна и Ивана II Асеня, направленные на достижение самостоятельности болгарской церкви, он пишет: «Цель была одна и та же, но выбор средств, равно как и последствия — различными, сообразно конкретной обстановке» (с. 54). Еще одну генеральную цель средневековой болгарской дипломатии Ангелов усматривает в поисках средств и путей достижения политического влияния на соседей, привлечения их в качестве союзников или обеспечения благожелательного нейтралитета. В сферу дипломатической деятельности включается и приглашение наемников.

Среди принципов средневековой болгарской дипломатии Ангелов называет привлечение союзников для решения внешнеполитических задач, поддержание благоприятного баланса политических сил на Балканах, манипулирование внутренними противоречиями в сопредельных странах, использование противостояния крупнейших политических центров европейского средневековья — Рима и Кон-

стантинополя. «Такой типологический анализ результативен постольку, поскольку в отношениях Болгарии с другими государствами налицо много общего и неизменного независимо от того, говорим ли мы о раннем средневековье или о развитом феодализме», — заключает автор (с. 74).

Центральное место в работе занимает четвертая глава, посвященная идеологическому обоснованию и аргументации в дипломатических переговорах. Автор также исходит здесь из представления о стабильности целей и принципов болгарской дипломатии на протяжении всего средневековья, «что позволяло выработать относительно постоянный дипломатический язык» (с. 80). Ведущее место отводится дипломатии с позиции силы, оперировавшей угрозами, ультимативными требованиями, шантажом и другими формами прямого нажима. Автор также выделяет религиозную, историческую и этическо-правовую аргументацию, в которой видит своеобразное обрамление дипломатических переговоров. Специальный параграф посвящен искусству лавирования, под которым понимается сложный механизм дипломатического противоборства. «Там, где убеждение, компромисс или угроза не были достаточно эффективными путями достижения предначертанных замыслов, — пишет автор, — максима „цель оправдывает средства“ превращалась в своеобразное руководство к действию, что еще раз показывает доминирующую роль pragmatического начала в болгарской средневековой дипломатии» (с. 140).

В последней, пятой главе, исследуются пути и средства осуществления дипломатических контактов. Ангелов рассматривает личные встречи болгарских государей с иноzemными монархами с точки зрения их организации, процедуры, церемониала, а также уделяет внимание посольствам, их полномочиям, составу, целям и содержанию переговоров. Интересен анализ разноязычной терминологии описаний болгарских посольств VIII—XIV вв., на основе которого делается попытка представить иерархию посланнических рангов и функций. Автор крайне осторожен в выводах о способах составления посольств, о должностных лицах дипломатической службы средневековой Болгарии. Не дает он и окончательного ответа на вопрос о существовании и специального дипломатического ведомства и профессионалов-дипломатов, ограничиваясь указанием на многофункциональность, присущую административному аппарату средневекового Болгарского го-

сударства, и на нескольких лиц, наиболее часто упоминаемых в источниках в связи с дипломатическими миссиями — кавхана Петра, сподвижника Симеона Тодора и др.

В заключение, вновь подчеркнув единство и континуитет средневековой болгарской дипломатии, Ангелов выделяет два этапа в ее развитии — период становления, уходящий истоками в догосударственную эпоху и завершающийся в середине IX в., и период зрелости, охватывающий вторую половину IX—XIV в. (естественно, за исключением времени утраты государственного суверенитета в XI—XII вв.). Автор предлагает некоторые темы для будущих исследований средневековой болгарской дипломатии — типология международных договоров Болгарии, роль династических браков, дипломатический церемониал.

Отмечая вклад автора в исследование общих закономерностей развития средневековой болгарской дипломатии, мы хотели бы высказать ряд соображений. В основе концепции единства и континуитета средневековой болгарской дипломатии лежит верное представление о стабильности основных факторов, воздействовавших на внешнюю политику Болгарии. Это — историко-географическое положение Болгарского государства с его доминантами — Дунаем, Балканским хребтом, Черным морем; близость двух средиземноморских побережий — Адриатического и Эгейского; соседство с Византией и принадлежность к восточноправославной общине, инкорпорация в которую началась еще до общегосударственного принятия христианства. Однако политическая обстановка, в которой развивалась средневековая болгарская дипломатия, не раз претерпевала коренные изменения, что оказывало серьезное влияние на представления о миропорядке. Назовем, по крайней мере, некоторые из них — катастрофа 1204 г., впервые поставившая Болгарию в положение одной из реальных наследниц Империи, кризис Византии в XIV в. и феодальная раздробленность на Балканах, османское нашествие. Изменения такого масштаба не могли не затронуть дипломатию, и мы вправе ожидать от автора анализа их влияния на предмет его исследования. На наш взгляд, П. Ангелов также недостаточно дифференцированно подходит к рассмотрению дипломатии Болгарии

по отношению к различным партнерам: Византии и славянским государствам на Балканах, Венгрии, Латинской империи, татарам, туркам и пр. Статичен и взгляд автора на собственно Болгию как на субъект международных отношений, особенно в конце XII—XVI в. Недостаточно освещены особенности дипломатической практики первых Асеней, Ивана II Асеня, Ивана Александра, государей, вассально зависимых от турок, татар и венгров.

Представляется, что П. Ангелов мог бы увеличить и количество приводимых в книге примеров из истории дипломатических контактов между Иваном Александром, Амадеем VI Савойским, Иоанном V Палеологом, Лайоном Великим и валашским господарем Владом Влайку и 1365—1369 гг. Вызывают возражение некоторые источники: на с. 101 — Константин Драгаш неправильно назван «юстендилским деспотом», хотя он не носил деспотского титула, а Юстендил получил свое новое название уже после его смерти. Противоречит хронологической последовательности сообщений источников предположение, что «одной из причин утверждений Калояна о своем происхождении из Рима была попытка западных крестоносцев обосновать свою экспансию возвращением к легендарным истокам римской истории» (с 114). Едва ли можно принять объяснение включения имен византийских императоров в Синодик болгарской церкви стремлением патриарха Евфимия подчеркнуть православное единство перед лицом османского нашествия: эта традиция находит параллели как в греческих текстах Синодика, так и в болгарских источниках более раннего времени, например, в Анонтической летописи.

Указанные недочеты не снижают значения труда П. Ангелова как первого комплексного исследования болгарской средневековой дипломатии. Книга создает цельную картину основных тенденций ее развития, на богатом материале раскрывает общие закономерности ее функционирования. Комплексное исследование средневековой дипломатии Болгарии, начатое рецензируемой монографией, вносит существенный вклад в осмысление многих проблем истории внешней политики, государства и права, общественной мысли и официальной идеологии средневековой Болгарии.

Поливанский Д. Н.

ДАШИЧ М. *Введение в историю с основами вспомогательных исторических дисциплин*

Университетский учебник, подготовленный профессором М. Дашичем, первая в Черногории книга, соответствующая учебному курсу, введенному в 1981 г. Как можно понять из текста, учебник стал завершением долгой работы, первые результаты которой автор опубликовал в 1983 г. В соответствии с названием учебник разделен на две части. Попутно отметим, что если преподавание вспомогательных исторических дисциплин описывается в нашей стране на давние традиции и снабжено соответствующими пособиями, то хорошего учебника, излагающего пропедевтический курс «введение в историю», все еще нет.

В первой части рассматриваемого учебника — «Введение в историю» уделено большое внимание истории как науке, историческому исследованию и межпредметным связям истории с другими общественными науками. Само построение этой части учебника ведет внимательного студента от наиболее общих представлений об избранной им науке к «технике» исследования и, через все этапы последнего, к выводам, оформление которых позволяет соотносить результаты с информацией других общественных наук. Этот практический подход выглядит значительно более привлекательно, чем справочный характер издаваемых подчас в СССР пособий.

Раздел, посвященный источниковедению, сообщая известные сведения о разнообразных видах источников, их сборе, хранении, использовании и издании, одновременно вводит студента в круг практически важных проблем самостоятельного определения места и времени формирования источника, определения его подлинности. В разделе описываются методы, применяемые во вспомогательных общественных дисциплинах, в философии, в языкоznании, причем о некоторых из этих методов (герменевтика) большинство советских студентов не имеют почти никакого представления. Интересны для будущих историков-исследователей и размышления автора о взаимосвязях между различными источниками.

Все студенты знают, что историческое исследование, начинающееся с анализа источников, оканчивается синтезом. Но,

прочитав определенное количество научных статей и монографий, студент часто не представляет себе того, каким образом осуществляется этот синтез. Поэтому большую ценность имеют материалы, отнесенные автором к разделу «Синтез», а также характеристика синтеза как «генетически-структурального». В разделе помещены примеры микро- и макроисторического синтеза.

Не меньшее значение для подготовки будущих историков имеет и раздел «Экспозиция», в котором повествуется о том, как надлежит оформлять результаты научного исследования. Здесь кратко характеризуются такие формы, как статья, монография, рецензия, аннотация. Первая часть книги завершается рассмотрением связей истории и других общественных наук: социологии, исторической географии, археологии, этнологии, антропологии и экономической истории. При этом автору удалось обрисовать целостную систему этих наук.

Вторая часть посвящена вспомогательным историческим дисциплинам. Главное внимание автор уделил палеографии, дипломатике, исторической хронологии. Соответственно разделы, посвященные метрологии, нумизматике, сфрагистике, геральдике и генеалогии, оказались очень краткими и сообщают минимум сведений. Казалось бы, избранный М. Дашичем курс на практическую подготовку студентов должен был найти продолжение и в этой части. Но это не так. Если раздел, посвященный палеографии, содержит вполне пригодные для практического употребления таблицы развития письма на греческом, латинском языках, глаголице и кириллице, то уже в разделе, посвященном дипломатике, ее характеристика могла бы быть более подробной. Тем более удивляет отсутствие переводных формул и таблиц в разделе «Историческая хронология». Без них трудно использовать даже приведенную автором информацию. Правда, содержание этой части учебника обладает большим достоинством в глазах иностранного читателя, ибо вся имеющаяся в ней информация основывается на местном, черногорском материале.

Книга является ценным учебным посо-

бием, отличным справочником по истории Черногории. Заслуживают внимания списки рекомендуемой литературы, приложенные к каждому разделу. По четкости формулировок, ясности многочисленных определений, легкости понимания

книга вполне оправдывает свое предназначение — университетский учебник. Думается, знакомство с ней необходимо каждому начинающему историку-слависту.

Пахомов Ю. В.

A. SABALIAUSKAS. *Lietuvių kalbos leksika*. Vilnius, 1990, 395 p.

A. САБАЛЯУСКАС. *Лексика литовского языка*

Книга известного литовского специалиста по этимологии и лексикологии балтийских языков Альгирдаса Сабаляускаса, во многом похожая на одну из его предшествующих работ [1], представляет собой опыт хроно-этимологической стратификации литовского словаря. Рассматривается как исходная, так и заимствованная лексика. Исходному фонду посвящены главы об общепаевропейском (р. 8—110), балто-славянском (р. 111—141) и общебалтийском (р. 142—193) пластах. Сюда примыкает глава «Лексика, характерная только для литовского языка» (р. 194—219). Далее идет речь о заимствованиях из прибалтийско-финских (р. 224—227), славянских (р. 227—256), германских (р. 257—267), латышского (р. 268—274) и других (р. 275—284) языков. Во всех главах содержатся сведения об употреблении анализируемых слов в ранних памятниках. Лексическим особенностям последних посвящена, вместе с тем, отдельная, заключительная глава, где говорится также о процессах обогащения словарного запаса современного литовского языка.

В предисловии подчеркивается (р. 6), что в книгу попала лишь небольшая часть всех литовских слов. Тем не менее материал, благодаря рациональному отбору, оказывается достаточным для построения целостной и, в общем, адекватной картины, на широком лингвистическом фоне отражающей специфику состава уникальной по своей значимости литовской (и, шире, балтийской) лексики, степень ее этимологической изученности. Наглядное развитие литовской этимологии в период «после Френкеля» во многом достигнуто как раз благодаря литовским ученым и заставляет признать, что создание нового этимологического словаря литовского языка если и не дело ближайшего будущего (р. 5), то причина этого все-таки в масштабности подобного пред-

приятия, а не в возможностях языковедов (*«dabartines musq kalbininkų jėgas»*, р. 5).

Обсуждение теоретических вопросов в книге скорее вспомогательно и, как правило, в начале каждой из глав дан минимум сведений, предваряющих рассмотрение конкретного материала. Оно состоит по преимуществу из справок о происхождении привлекаемой лексики, обосновывающих отнесение слов к соответствующему хронологическому слою. Новых этимологий автор практически не предлагает, но их отсутствие в труде, наполненном на подведение некоего итога, не выглядит изъяном. Не всегда бесспорной кажется явно не выраженная, но, на наш взгляд, достаточно последовательная позиция автора при отборе этимологических версий, когда предпочтение отдается скорее традиционному взгляду (пусть даже с формулировкой типа «неясно»), а не более перспективному и оригинально смелому. Тяготение к «устоявшимся» точкам зрения — например, из словарей Фасмера и Френкеля, — быть может, стало причиной того, что в книге иногда не учтены разработки новейшего этимологического словаря славянских [2] и отчасти также прусского [3] языков,ср. особенно ситуации, когда не учтенные версии влияют на хронологическую атрибуцию слов. Впрочем, в справках о происхождении слов обнаруживаются и другие существенные лакуны. В этой рецензии, обращенной преимущественно к славянскому материалу монографии А. Сабаляускаса, недостаточное внимание к [2], на наш взгляд, в конечном счете, снизило уровень трактовки материала. Сказанное можно проиллюстрировать выборочными замечаниями по тексту книги.

Birtà ‘рот, лицо’ (р. 9): утверждение о том, что болг. диал. бърна ‘туба’ является единственной славянской параллелью литовского слова, неточно, ср.

макед. *брна* ‘кольцо (вставляющееся в пятачок свиньи, губы животного)’, слов. *perga* ‘губа’ и др. [2, вып. 3, с. 130].

Volungē ‘иволга’ (р. 37): неясными являются не только происхождение этого слова и лтш. *vāluōdze* ‘то же’, но и их отношения с рефлексами слав. **žyvylga* ‘то же’ (не говоря о других цитируемых параллелях), вполне убедительно объясняемого из приставки **žy-* и **vylga* ‘влага, влажный’ [2, вып. 8, с. 351—352]. Не вполне понятно, почему название иволги дано одновременно в главах «Общесиндоевропейская лексика» (р. 37) и «Общебалтийская лексика» (р. 153). Речь может идти, вероятно, лишь о последнем варианте.

Seši ‘шесть’ (р. 77): в праславянскую реконструкцию для шести вкрадась мелкая, но существенная неточность: не **šestъ* (ср. **šestъ* ‘шестой’), а **šestъ*.

Judēti ‘двигаться, шевелиться’ (р. 88): указывая славянские соответствия, едва ли правомерно ограничиваться только польск. *judzić* ‘подстrekать, соблазнить, надоедать’, тем более что в этом глаголе иногда усматривали (хотя и неверно) заимствование как раз из лтш. *judēti*; ср. еще болг. *юдя* ‘манить, подманивать, искушать’ и др. [2, вып. 8, с. 191—192].

Kifsti ‘рубить, вырубать, срубать’ (р. 90): говорить о ‘рус. черсти’ несколько неосторожно. Эта форма, почерниутая, вероятно, в словаре Фасмера, содержит момент реконструкции: ‘только др.-рус. *очерсти* ‘установить границу’’ [4, т. IV, с. 349], ср. др.-рус., рус.-цслав. *чрьсти*, *чрьту* ‘чертить, проводить борозду, вспахивать’ [2, вып. 4, с. 75—76].

Ravēti ‘полоть’ (р. 99): родство рус. *рвать* и *рыть* отклоняется на основании акцентологических данных [5, с. 332].

Kárvē ‘корова’ (р. 118): вряд ли правомерно ограничиваться отсылкой к п.-е. **k'er*(ə)-‘рог, верхняя часть головы’, оставляя без каких-бы то ни было комментариев начальное б.-слав. **k-* и даже не упоминая об очень вероятном родстве *kárvē* и прус. *sirwis* ‘косуля’, слав. **korva* и **sъrna* ‘серна’ [2, вып. 8, с. 106—112]. «Системные» рефлексы **k'er*(ə)- рассматриваются в книге в связи с лит. *šīvas*, *šīmas* ‘сивый (кошь)’ (р. 69) — как продолжения и.-е. **k'eg-* ‘серый, пятнистый’, — а также в этюде о лит. *st̄rgna*, лтш. *st̄fna* ‘косуля’ (р. 151), где, кстати, ничего не говорится о существующих трактовках «труднообъяснимых», по автору, фонетических

различий между *st̄rgna* и **sъrna* и т. п., ср. [6, с. 300—311].

Úoga ‘ягода’ (р. 121): сопоставление с с.-хорв. *vinjâga* ‘дикий виноград’ неправомерно, так как последнее — держат от **vino* с суффиксом -*jaga* [2, вып. 2, с. 58].

Kirkšnis ‘пах’ (р. 144): сепаратное сравнение этого слова и лтш. *cīfksnis* ‘то же’ с чеш. *třísla* (мн. ч.) ‘пах, низ туловища’ страдает чрезмерным ‘атомизмом’. И балтийские, и чешское слова нецелесообразно отрывать от их ближайших соответствий — рефлексов и.-е. **kert-* ‘резать’, ср. возможность реконструкции и.-е. **kert-sl-*, отразившегося в лит. *keſlas* ‘орудие для кровопускания’, прус. *kersle* ‘кирка’, слав. **čerslo*, продолжениями которого являются упомянутое чеш. *třísla*, ср. еще рус. чёресла ‘поясница, крестец или окружность тела над тазом’ и т. п. [2, вып. 4, с. 74—75; 3, т. III, с. 144], далее к лит. *kiſti* (см. выше). Отметим, что лит. *keſlas* в рецензируемой книге не рассматривается.

Lokŷs ‘медведь’ (р. 150): даже не упоминается анализ соответствующих балтийских данных, осуществленный В. Н. Топоровым [3, т. IV, с. 69—78]. Учитывая этот анализ, *lokŷs* следовало бы отнести к балто-славянскому или даже индоевропейскому пласту литовской лексики.

Kviēsti ‘приглашать’ (р. 186): предполагаемое славянское соответствие указано не вполне точно. Уместнее бы дать не ‘слав. *cvisti* ‘расцветать’’ (в переводе значения на литовский язык, кстати, вкрадась опечатка: надо же ‘*gražiſtī*’, а ‘*gražystī*’), но ст.-слав. *cvisti* ‘цвести’. Обоснование этого балто-славянского сближения содержится в интерпретации прус. *quāits* ‘воля’ [3, т. IV, с. 366—374], не учтенной А. Сабаляускасом и при рассмотрении лит. *kvietŷs* ‘шпеница’ (р. 41), где идет речь об и.-е. **k'uei-* ‘светить, светлый, белый’, откуда объяснямы слав. **květъ*, **kvisti*, но и **světъ* [2, вып. 13, с. 163—168].

Aitvaras ‘домовой’ (р. 214): сближение первого компонента этого сложного слова с польск. *jata* ‘хищина’ и т. п. невозможно [2, вып. 8, с. 182—183]. Следовало бы вспомнить, что лит. *aitvaras*, как и польск. *roszwara* ‘чудовище, злой дух, кошмар’, в свое время были объяснены из иран. **pati-vāra* [7, с. 67—68].

Опечатки и неточности относительно немногочисленны и допущены, главным образом, при цитировании польских и древнеиндийских слов. Принятое в кни-

ге использование графем *ё* вместо *ё*, *а* вместо *ə* в старославянском материале (а иногда в праславянских реконструкциях) не очень корректно и могло бы быть как-то оговорено. То же касается и кириллической графемы, употребляемой вместо *ð* (звуконкий спирант) в авестийских данных.

Несмотря на указанные и другие недостатки, труд А. Сабаляускаса представляется еще один шаг на пути к будущему компендиуму литовской этимологии и, вместе с тем — к отсутствующему пока историческому словарю литовского языка.

Аникин А. Е.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Sabaliauskas A. *Lietuvių kalbos leksikos raida*.— In: *Lietuvių kalbotyros klausimai*. VIII, Vilnius, 1966.

2. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1—16. М., 1974—1990.
3. Топоров В. Н. Прусский язык. Словарь. М., 1975 (I), 1979 (II), 1980 (III), 1984 (IV).
4. Фасмер М. Этимологический словарь славянских языков. Т. I—IV. М., 1964—1973.
5. Николаев С. Л., Старостин С. А. Парадигматические классы индоевропейского глагола.— В кн.: Балто-славянские исследования 1981. М., 1982.
6. Трубачев О. Н. Лексикография и этимология.— В кн.: VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973.
7. Трубачев О. Н. Из славяно-иранских лексических отношений.— В кн.: Этимология 1965. М., 1967.

ЦЫГАНЕНКО Г. П.

Этимологический словарь русского языка. Киев,

1989, 511 с.

Вышедший вторым изданием в существенно дополненном виде словарь Г. П. Цыганенко призван выполнить весьма не-простую задачу — обеспечить достоверной этимологической информацией по русскому языку школу, учителей и учащихся. Как ни парадоксально, задача эта, в сущности, ничуть не проще, а по-жалуй, многое сложнее, чем более привычная деятельность по созданию строго научных этимологических словарей, пред назначенных для специалистов. Действительно, составителю этимологического словаря, ориентированного на широкого читателя, суждено в каждой строке совмещать несовместимое — абсолютную научность и точность данных с доступностью изложения.

Следует заметить, что на этом пути Г. П. Цыганенко удалось найти ряд удачных приемов подачи материала. В частности, в словаре «популярного» типа, видимо, целесообразно вводить в текст статей отдельные элементы историко-грамматических сведений, некоторые данные по диахронической фонологии отдельных славянских языков и т. п. В противном случае читателю было бы значительно сложнее освоиться среди множества неизвестных, экзотических форм. С другой стороны, трудно принять применяемую в словаре Г. П. Цыганенко условную хронологическую стратификацию рус-

ских лексем, в соответствии с которой заглавные слова могут характеризоваться в следующем духе: «по корню праславянское, по звуковому оформлению русское» (с. 6); ср. «болото (...) По корню праслав.», но «боль (...) Общеслав.» Подобная традиция существует в отечественной этимологической лексико-графии, в частности, в этимологическом словаре МГУ, где она себя и дискредитировала. Читатель такая нотация ничего, кроме иллюзий, не дает.

Словарь словаря — при столь малом объеме — кажется, в общем, достаточно удачным и полным, хотя есть и досадные пропуски (отсутствуют, например, *легать* и *ложь*). Материал расположен гнездами, хотя иногда встречаются неожиданные отступления (*божество* — отдельно от *Бог*). Заглавные слова даются с толкованиями, видимо, принадлежащими автору, — это, конечно, также продиктовано специфическим жанром словаря. Некоторые толкования оставляют желать лучшего: *Бог* ‘мифическое выдуманное существо’, *количество* ‘число, величина, объем, масса’, *синий* ‘цвет, средний между голубым и фиолетовым’. Едва ли, однако, многие толковые словари могут похвальстись отсутствием подобных экспликаций.

Ограниченный объем словаря, отбор преимущественно базовой и наиболее час-

тотной лексики упростил задачи автора в том смысле, что большинство заглавных слов (особенно заимствования) не вызывают значительных этимологических трудностей. Как правило, для заимствованных лексем в словаре с достаточной точностью указан ближайший источник, а иногда и вполне удовлетворительно раскрыта его предыстория. В статьях, посвященных славянской лексике, обычно в корректном виде приводятся ближайшие восточнославянские параллели (в том числе и древнерусские). Однако чем дальше по времени от синхронного языкового среза, тем менее надежны и адекватны данные и выводы лексикографа — от праславянского состояния и глубже они содержат ошибки, иногда грубые. Ограничусь несколькими достаточно показательными примерами: слов. *bъděti выводится из и.-е. *bōdh-/*bheudh- (с. 27); в слов. *berza из *bergā автор видит основу *bhe-/ *bhā- 'сиять, блестеть' (с. 29); слов. *biti производится из и.-е. *beiti (с. 31); с. v. Бог находим indoевропейскую (!) реконструкцию *bhajati 'наделять, давать, кормить' (с. 36); -г- в слов. *bratgъ 'был показателем косвенных падежей (как мать — матери)' (с. 41). На том же алфавитном отрезке с б- начальным довольно много мелких погрешностей в передаче иноязычных форм. По этому можно составить представление об общем невысоком уровне как реконструкции, так и по-

дача сопоставительного материала в словаре.

Естественно, что словарь «популярного» типа в целом не может (и не должен?) претендовать на оригинальность, ни в составе словарника, ни в конкретной этимологической разработке тех или иных слов. Тем не менее, в любом словаре непременно найдется и неожиданное слово, и заметно новая этимологическая версия. В рецензируемом справочнике заслуживает внимания включение в словарь прилагательного *энный* (с достаточно прозрачной этимологией — собственно *N-ний*) и лишь недавно лексикографически зафиксированного *цигейка* (по предположению автора, в конечном счете, производное от нем. *Ziege* 'коза', словообразование — по типу *шубейка*).

В заключение приходится признать, что рецензируемый словарь лишь до некоторой степени способен выполнять свои задачи и читателю-неспециалисту следует пользоваться им с большой осторожностью. Вместе с тем, создатели будущих этимологических словарей русского языка несомненно привлекут книгу Г. П. Цыганенко и как источник отдельных этимологических наблюдений, и как своего рода «полигон», на котором были проверены некоторые методические приемы подачи материала в справочниках этого типа.

Орел В. Э.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

Achmatowicz-Otok A. Miejsce Polonii w strukturze społeczeństwa australijskiego: Studium geogr. Warszawa, 1988, 254 s.

Bărnutju S. Discursul de la Blaj și scrierii de la 1848. Cluj, 1990, 127 p.

Bobowski K. Kancelaria oraz dokumenty biskupów i kapitału w Kamieniu (do końca XIII w.). Wrocław, 1990, 96 s.

Bogdany-Popielowa W., Jasńska-Jędrasz E., Serdak G. Karol Szymanowski w zbiorach polskich: w 50 rocznicę śmierci. Warszawa, 1990, 240 s., il.

Brandys M. Moje przygody z historią. Warszawa, 1990, 175 s.

Brătianu G. I. Une énigme et un miracle historique: Le peuple roumain. Bucarest, 1989, 229 p.

Buluța G. Manuscrise miniate s ornate românești în colecții din Austria. Bucuresti, 1990, 142 p., il.

Changes in two Baltic countries: Poland a. Sweden in the XVIIIth cent. Poznań, 1990, 179 p., ill.

Cimek H. Komuniści, Polska, Stalin, 1918—1939. Białystok, 1990, 204 s.

Dmitruk K. Współczesne polskie koncepcje kultury. Warszawa, 1990, 379 s.

Dějiny Táboru. Berlin — Budějovice, 1990, 696 s., ill.

Drug Š. Stúrov program na našich zástavach. Bratislava, 1990, 288 s.

Drzycimski A. Major Henryk Sucharski. Wrocław etc., 1990, 234 s., il.

Encyklopédia dramatických umení Slovenska. Bratislava, 1990, 711 s., 6 l. il.

Garlicki A. Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa, 1989, 80 s., il.

Gestrin F., Mihelič D. Třaški pomorski promet 1759/1760. Ljubljana, 1990, 227 s.

Grzegorczykowa R. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa, 1990,



ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

Království dvojího lidu. České dějiny let 1436–1526 v soudobé korespondenci. Praha, 1989, 480 s.

Королевство раздвоенного народа. Чешская история 1436–1526 гг. в письмах

В серии «Живые произведения прошлого» известный чешский историк Петр Чорней осуществил публикацию своеобразной антологии чешского эпистолярного наследия XV–XVI вв., избрав важный этап в развитии Чешского государства: от принятия в г. Иглава компактатов, что фактически означало заключение мира между одержавшими победу гуситами и католической Европой (1436), до вхождения страны в орбиту формирующейся многонациональной державы Габсбургов (1526). Этот почти столетний период представлен в зеркале 194 аутентичных эпистолярных памятников. Заголовок книги дало современное послегуситской эпохе понятие, выражавшее разделение чешского народа на два конфессионально-политических лагеря — католиков и утраквистов (чащников). Их взаимоотношения составляли стержень развития чешской истории в XV — начале XVII в.

Публикатор включил в подборку письма как частного, так и официального характера, исходившие от отдельных лиц и из различных канцелярий. Авторы писем принадлежали к разным слоям чешского общества. Основой антологии служат письма крупнейших политиков эпохи и видных представителей чешской аристократии: королей Сигизмунда Люксембурга, Иржи из Подебрад, Владислава и Людвика Ягеллонов, Матьяша Корвина, магнатов Рожмберков, Зденека Льва из Рожмитала, выдающегося чешского гуманиста и поэта Богуслава Гаштейнскою из Лобковиц и др. Сюда включены и образцы корреспонденции менее значительных или ничем не примечательных авторов.

Цель издания состоит в том, чтобы дать современному читателю представление о важнейших событиях и наиболее характерных чертах эпохи устами современ-

ников. Можно констатировать, что этой цели публикатор достиг, представив репрезентативную антологию писем. Все они (за исключением трех) ранее публиковались в различного рода изданиях, однако их систематизированная хронологическая подборка, позволяющая довольно полно представить исторический контекст эпохи, осуществлена впервые в рецензируемой книге.

Публикуемые письма сгруппированы по хронологическим разделам, стержень которых составляет кульминационное на данном историческом отрезке событие. Первый раздел охватывает 1436–1439 гг. (от принятия компактатов до периода междуцарствия). Второй посвящен борьбе католического дворянства с Иржи из Подебрад за домпнрование в политической жизни страны. В результате победы в этой борьбе Иржи из Подебрад стал «земским правителем», а затем королем Чехии. Этому посвящен третий раздел, озаглавленный «Гуситский король». Четвертый раздел включает проблематику начального периода правления в Чехии династии Ягеллонов: чешско-венгерский спор о юрисдикции над так называемыми «окрестными землями» чешской короны и пражское восстание 1483 г., предотвратившее захват власти в городах сторонниками католической «партии». Пятый раздел посвящен борьбе между городами и дворянством за первенство в экономической и общественной жизни страны, закончившейся компромиссом, а также внутриполитическим отношениям в среде фактически правившей в те годы в стране аристократии (переписка двух крупнейших политиков эпохи — верховного пражского бургграфа Зденека Льва из Рожмитала и Петра IV из Рожмберка). Последний раздел символически озаглавлен «На историческом распутье». Он по-

священ выборам в 1526 г. чешскими со-словиями нового короля, которым стал Фердинанд Габсбург. К указанным письмам разделам примыкают два экскурса, составленные из документов, дающих представление об экономических и социальных отношениях и повседневной жизни в крупных панских хозяйствах, в замках, деревнях и местечках (в основном во владениях Рожмберков) в подебрадский и ягеллонский периоды. Эти экскурсы содержат богатый материал для изучения и понимания менталитета эпохи, что существенно обогащает публикацию и ставит ее в ряд изданий, разрабатывающих научно актуальную проблематику менталитета прошлого.

Издание писем осуществлено в соответствии с принятыми в чешской науке правилами научной публикации истори-

ческих источников, снабжено необходимым справочным аппаратом.

Предваряет публикацию вступительная статья П. Чорнея, в которой он кратко характеризует период 1436—1526 гг., акцентируя внимание на основных тенденциях развития и важнейших событиях, отразившихся в публикуемой корреспонденции. Статья также содержит характеристику писем как исторического источника, позволяющего проникнуть в живую ткань исторического прошлого и внутреннюю жизнь давно умерших людей. Конечно, письма — это в некотором смысле субъективный источник, нуждающийся в корректировке другими данными, однако именно субъективность делает их живыми и притягательными для последующих поколений документами.

Мельников Г. П.

Е. Ф. ФИРСОВ. *Эволюция парламентской системы в Чехословакии в 20-е годы*. Спецкурс. М., 1989, 141 с.

Монография Е. Ф. Фирсова посвящена актуальной сегодня проблеме формирования и функционирования институтов политической власти в Чехословацкой Республике в 20-е годы в условиях многопартийности, политического плюрализма, развитой парламентской системы. В основе работы лежит характеристика партийно-политической структуры чехословацкого общества со времени образования государства до конца 20-х годов. Это уже не первое исследование автора, посвященное данной проблематике [1]. Однако в нем собраны и обобщены результаты предыдущих работ, а также дана характеристика всех основных политических партий ЧСР, рассмотрены как их политические программы, так и практическая деятельность.

В рецензируемой книге Е. Ф. Фирсов не только раскрывает механизм создания и функционирования коалиционных блоков и правящих коалиций, но, что крайне интересно, стремится показать становление и других центров реальной политической власти, таких как «пятерка», «семерка», Град и др.

При характеристике реальной практики парламентаризма автор применяет подход, который сам определяет как «историко-функциональный», исходящий, в отличие от формально-правового, из «вы-

явления социальной направленности деятельности ведущих партий коалиционного блока и парламентской системы в целом». Этот метод не вызывает сомнений, однако первоначальная установка автора приводит его к недооценке положительного опыта системы буржуазной представительной демократии, сложившейся в чехословацком обществе в 20-е годы. Отсюда, на наш взгляд, несколько неверная оценка аграрной партии как «крупной, буржуазной и правой» (с. 26), в то время как, по словам самого Фирсова, «в сфере влияния аграриев находилась основная масса крестьянства». К тому же деятельность партии объективно отражала интересы не только аграрного финансового капитала, но и зажиточных, а отчасти и средних крестьян. Нам представляется не совсем правильным также говорить о «буржуазном» характере партии национальных социалистов (с. 36), так как это была рабочая социал-реформистская партия, занимавшая правый фланг в спектре рабочего движения Чехословакии. Вместе с тем автор несколько преувеличивает реальное значение политической деятельности и удельный вес компартии в политической системе Чехословакии. Даже приводя данные о численности партий, автор называет цифру в 380 тыс. членов Марксистской левой

на Учредительном съезде компартии в 1921 г., однако, не сообщает цифру 132 тыс. членов уже в 1923 г. на I съезде КПЧ. В дальнейшем он уточняет, что к V съезду партия насчитывала лишь 120 тыс. членов, но практически не объясняет причин этого явления. В целом, говоря о численности партий, автор приводит данные для различных временных отрезков — начала, середины и конца 20-х годов, поэтому сопоставить их невозможно.

В работе убедительно обоснован основной вывод автора: несмотря на очевидный сдвиг вправо, характерный для политической жизни Чехословакии к концу 20-х годов, благодаря тактической маневренности политического руководства и борьбе ма просовых слоев в защиту демократических завоеваний существовавший в Чехословакской Республике режим при всех его модификациях сохранял буржуазно-демократический характер. В целом книга дает яркое представление о процессе становления парламентской системы в Чехословакии. Это конкретно-историческое исследование основано на многочисленной литературе и, что особо ценно, разнообразных архивных материалах. Извлекаясь спецкурсом для студентов, специа-

лизирующихся по истории южных и западных славян, монография является одновременно учебным пособием и научно-исследовательским трудом, приглашающим продолжить научную разработку этой важной исторической проблематики. Она бесспорно представляет интерес для специалистов как по истории Чехословакии, так и по политической истории других европейских стран, а также для всех интересующихся проблемами становления и развития институтов политической демократии.

Серапионова Е. П.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фирсов Е. Ф. Чехословацкая национально-демократическая партия и чешское фашистское движение (20-е годы). — В кн.: Проблемы истории кризиса буржуазного политического строя. М., 1984; Фирсов Е. Ф. Чехословацкая национально-демократическая партия в период политического кризиса 1925—1926 гг. — Вестник Московского университета. История. 1979, № 3; Фирсов Е. Ф. КПЧ и демократические силы против фашистской опасности в Чехословакии (20-е годы). — Вестник Московского университета. История. 1983. № 3.

ИЗВЕСТИЯ О РОССИИ В ЧЕШСКИХ КАЛЕНДАРЯХ XIX ВЕКА

Рукописные календари на латинском языке появились в Чешских землях в XII в., на чешском — в XIII в., став первыми в Европе календарями на национальном языке. Первый печатный чешский календарь относится к 1485 г. Со временем календари расширялись и вбирали в себя самую различную информацию (дни наиболее популярных святых; облеченные в форму так называемых prognostиков и народных присловий, предсказания погоды и советы земледельцам, разного рода сведения из области природоведения, математики, астрономии, истории, торговли и т. д.) и постепенно стали излюбленным народным чтением. Таким образом к XIX в., который считается золотым веком чешских календарей, в их издании был накоплен богатый опыт, впитавший всю многовековую календарную традицию.

Прфессор З. Урбан подготовил книгу «Столетие чешского календаря», которая представляет собой сборник текстов из

чешских календарей XIX в. Оставляя в стороне историю чешских календарей (о ней обстоятельно говорится во вступительной статье составителя сборника), а также и весьма любопытное содержание книги в целом, остановимся лишь на том, что имеет интерес для занимающихся историей чешско-русских связей. Вшедшие в книгу календарные тексты включают в себя разного рода сведения о России. Здесь есть подборка белорусских пословиц и поговорок (в оригинале и переводе) из календаря на 1858 г. «Koleda», например: «Богатому черт детей колышет», «Думка думку погоняет», «Зима на лето работает», «Хлеб соль ешь — а правду режь» [1, с. 50] и др.

Особый интерес представляет сообщение о пребывании возвращавшихся из альпийского похода русских войск под предводительством Суворова в Праге (июль 1799) из исторического календаря «Od léta 1798 až do léta 1800»: «Сказать по правде и коротко, у всего этого воин-

ского люда славянская удаль проглядывает из глаз, и был этот люд такой отборный и храбрый, какой себе среди военных представить можно. Среди них было великое множество таких, кто на своей груди нес 2, 3 и 4 серебряных медали за свою отвагу, несли на груди то, что дороже денег, они воевали у Отакова, брали эту крепость штурмом. Чтобы поговорить с этими героическими Славянами, пользующимися почти одним с нами, чехами, языком, собралось жителей Праги и других людей великое множество; многие мужи высокородные и знатные специально для этого в Прагу приехали. Велико было удовольствие для нас — а они тоже большую радость имели — оттого, что мы с ними, а они с нами, на языке славянском поговорить могли, а еще и потому, что мы на площади возле моста слышали их воинский славянский говор и хорошо его понимали. И поэтому славяне господа Пражане, воспламененные старочешской искренностью, очень приветливо и дружелюбно отнеслись к этому поистине знаменитому войску» [1, с. 58].

Не прошли издатели календарей и мимо событий завершения войны с Наполеоном: в отрывке из «Nový kalendář talarancí pro veškeren národ český ... na rok 1816» со ссылкой на газеты 1813—1814 гг. сообщается: «Дня 15 августа 1813 вечером впервые Его Величество царь русский, а 17 августа — король прусский прибыли в главный город Прагу, где уже радостно приветствовали императора Франца.— 16, 17 и 18 октября 1813 провели объединенные монархи очень тяжелую и счастливую битву под Лейпцигом, где французы потеряли 370 орудий и свыше 40 000 солдат, взятых в плен; оставили тысячи мертвых и раненых у Лейпцига и в его окрестностях, а также множество отступающих, не нашедших себе места ни в земле, ни под крышей.— Дня 12 марта 1814 сдался русскому войску город Реймс. Это французский город, где издавна короновались короли. Здесь было взято в плен 25 000 французов и захвачены 10 пушек... Дня 20 апреля 1814 Наполеон отправился на Эльбу.— Дня 7 июля 1814 в Праге и всей Европе состоялось великое торжество

по поводу заключения вечного мира» [1, с. 58]. Эта хроника привлекает не-посредственной приуроченностью к событиям.

Еще одна любопытная заметка «Русское приветствие хлебом и солью»: «Národní česko-slovanský obrázkový kalendář pro všechny stavy na rok 1857»: «Один из важнейших образцов славянского гостеприимства до сих пор сохранился у русского народа, а именно приветствие приходящего хлебом и солью... Кому русский человек хлеб и соль предложит, тому к услугам на время пребывания предоставляется все, что у хозяина есть, если гость такое приветствие примет, отломит кусок хлеба, посолит его и съест» [1, с. 120].

Мы привели лишь несколько примеров отражения русской темы в чешских календарях, которые, как думается, позволяют видеть в них не только памятники народной культуры, но и исторические источники, содержащие сведения о чешско-русских связях. А ведь в XIX в. народных календарей в Чехии вышло более двух тысяч, и с этой точки зрения они еще не обследованы. Кстати, немало упоминаний в сборнике «Století českého kalendáře» и о других славянских народах (сербах, словаках, поляках, болгариах, лужицанах). В заключение хочется заметить, что типичные календарные тексты, отобранные и расположенные составителем с большим знанием и вкусом, представляют несомненную ценность для славистов и в более широком плане. Они дают определенное представление о чешской народной книжности, фольклоре, бытовом укладе, истории, технических изобретениях и обо всей многокрасочной палитре общественно-хозяйственной и культурной жизни Чехии XIX в. Книга прекрасно издана, сопровождена множеством занимательных иллюстраций, ее тираж по меркам Чехословакии чрезвычайно велик — 130 000 экземпляров.

Л. К.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Zdeněk Urban Století českého kalendáře. Praha, 1987, 168 s.



ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

ДЖОН СИМОН ГАБРИЭЛЬ СИММОНС.
Указатель славяноведческих работ. Составитель А. Б. Свидер. Киев, 1990,
48 с.

Институтом славяноведения и балканстики АН СССР, Советским комитетом по изучению и распространению славянских культур и Центральной научной библиотекой им. В. И. Вернадского АН УССР в рамках широкомасштабной международной программы по изучению славянской книжности начато издание биобиблиографической серии «Крупнейшие историки славянской книжной культуры». Серию открывает брошюра, посвященная видному английскому слависту, историку книги и библиографу, знатоку восточнославянской книжной культуры доктору Дж. Симонсу. В кратком введении (с. 7—12) содержатся биографические данные об ученом, выделены основные направления его научных интересов и деятельности. Основную часть книги (с. 13—42) занимает указатель славяноведческих работ Дж. Симонса, хроноло-

гически охватывающий 1949—1989 гг. и включающий 247 названий (всего же перу английского исследователя принадлежит более 400 статей, рецензий и т. д.). Существенным подспорьем при работе с библиографией является именной указатель (с. 44—46).

Первая книга новой биобиблиографической серии (изданная, к сожалению, крайне ограниченным тиражом—200 экз.), думается, будет полезна широкому кругу специалистов, занимающихся проблемами славянских культур. В 1991—1995 гг. редакция серии планирует опубликовать выпуски, посвященные таким значительным историкам славянской книжности, как профессора А. С. Мыльников (Ленинград), Е. Л. Немировский (Москва), С. И. Маслов, П. Н. Попов (Киев),

Васильев М. А.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

- Hempel A. Pogrobowcy klęski: Rzecz o policji «granatowej» w Generalnym Gubernatorstwie, 1939—1945. Warszawa, 1990, 436 s., 12 ark. il.
- Ivănescu G. Studii de istoria limbii române literare. Jași, 1989, 266 s.
- Jarocki R. Czterdzieści pięć lat w opozycji. Kraków, 1990, 317 s., il.
- Językowe studia bałkanistyczne. T. 2. Wrocław etc., 1990.
- Kluszczyński R. W. Film — sztuka Wielkiej awangardy. Warszawa, 1990, 184s., il.
- Labuda G. Pierwze państwo polskie. Warszawa, 1989, 80 s., il.
- Lovinescu E. Istoria literaturii române contemporane, 1900—1937. Bucuresti, 1989, 349 p.
- Kirche im Osten: Studien zur osteurop. Kirchengeschichte u. Kirchenkunde. Bd. 33. Göttingen, 1990, 198s.
- Krzyżaniakowa J., Ochmański J. Wład sław II, Jagiełło. Wrocław etc., 1990, 361 s., 12 ark. il.
- Majchrzowski J. M. Ulubieniec Cezara Bolesław Wieniawa-Długoszowski: Zarys biografii. Wrocław etc. 1990, 279 s., il.
- Mezník J. Praha před husitskou revolucí. Praha, 1990, 300s.
- Neupauer K. Mária Terézia úrbérrendezése Bereg, Máramaros, Ung és Ugoosa Megeyében. Budapest, 1989, 131 old.
- Nodern Slovak prose: Fiction since 1954/Ed. by Pynsent R. B. L., Basingstoke, 1990, XI, 268 p.
- Nadzieja J. Lipsk, 1813. Warszawa, 1990, 248s. 16 ark. il.
- Nagielski M. Warszawa, 1956. Warszawa, 1990, 256s. 14 ark. il.
- Národnostní otázka v Československu (po roce 1918): Seminář konaný v Opavě 20. a 21. června 1989. Opava, 1989, 190s.
- Ottoman documents on Balkan Jews: XVIth — XVIIIth cent. Sofia, 1990, 56p.



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

МАРБУРГСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИССИИ ПО ИСТОРИИ СЛАВИСТИКИ

28 мая — 1 июня 1990 г. в Марбурге (ФРГ) состоялось 15-е заседание Международной комиссии по истории славистики (МКиС) при Международном комитете славистов. МКиС была создана в 1958 г. на IV Международном съезде славистов [1]. В настоящее время в составе комиссии работают 38 ученых из 16 стран. После Братиславского [2] состоялось заседание МКиС в Варшаве (1987) и Софии (1988 г., во время X Международного съезда славистов). На них было продолжено обсуждение вопросов, связанных с подготовкой серии сборников по истории мировой славистики периода до второй мировой войны. На Варшавском заседании комиссия рассмотрела также первые результаты работы по принятому в 1985 г. проекту «Библиография важнейших исследований по истории мировой славистики» и после оживленного обмена мнениями одобрила макет библиографического ежегодника «История мировой славистики» за 1985 г., составленного Институтом научной информации по общественным наукам АН СССР (ИНИОН) совместно с национальными комиссиями по истории славяноведения СССР, ГДР и Чехословакии. В Софии был обсужден отчет о работе МКиС после Варшавского заседания.

Важное место на Варшавском и Софийском заседаниях комиссии заняли организационные вопросы. В Варшаве вместо скончавшегося вице-председателя МКиС Й. Хамма (Австрия) на этот пост был избран представитель Великобритании Д.-Ч. Стоун; заседание в Софии приняло отставку председателя комиссии Д. Ф. Маркова (СССР) и обратилось с просьбой возглавить ее работу к вице-председателю от СССР В. А. Дьякову.

На ход и решения Марбургского заседания МКиС определенный отпечаток наложила новая идеино-политическая обстановка в современном мире.

Уже в течение длительного времени МКиС осуществляет издание серии сборников по истории мировой славистики. В Польше к Марбургскому заседанию вышла первая часть тома, посвященного славяноведению в 1918—1939 гг. [3]. Члены МКиС от Республики Польша М. Басай и С. Урбаньчик проинформировали о перспективах и проблемах, связанных с завершением сборника; предпринимаемые ими усилия получили одобрение участников заседания. Вместе с тем ввиду выяснившейся беспersпективности издания в Югославии последнего из планировавшихся сборников серии, посвященного славяноведению второй половины XIX в., МКиС поручила Президиуму провести переговоры с целью организации выпуска указанного сборника в одной из стран, представленных в комиссии.

В докладе, с которым выступил на заседании исполняющий обязанности председателя комиссии В. А. Дьяков, было выдвинуто предложение о расширении серии сборников за счет отказа от ограничения их хронологическими рамками 1945 г. Решено начать подготовку двух дополнительных томов, посвященных послевоенному славяноведению в славянских и неславянских странах, эту работу взяли на себя советские и немецкие ученые. В качестве одного из перспективных направлений дальнейшей деятельности МКиС В. А. Дьяков назвал организацию исследовательской деятельности славистов, работавших в условиях эмиграции. Данной проблематике предполагается посвятить в будущем специальное заседание.

В отчете о Братиславском заседании МКиС уже был упомянут проект библиографирования важнейших исследований по истории мировой славистики, выдвинутый советскими учеными. Накануне Марбургского заседания увидел свет пер-

вый выпуск библиографического ежегодника «История мировой славистики», подготовленного ИНИОН совместно с МКИС и учитывающего литературу за 1988 г. Составитель ежегодника А. И. Калоева сообщила участникам заседания, что в 1991 г. запланировано издать библиографию за 1989 г. и подготовить выпуск, учитывающий материалы за 1985—1987 гг. Одобрав проделанную работу, МКИС призвала своих членов, а также научные учреждения, информационные центры и библиотеки присыпать для ежегодника библиографию соответствующих работ. Перед ИНИОН поставлен также вопрос об издании возможно более полного ретроспективного указателя литературы по истории мировой славистики.

Значительное место на заседании заняли вопросы организационного характера, связанные с дальнейшей активизацией деятельности МКИС. Было признано необходимым предпринять усилия для расширения состава комиссии за счет как специалистов из участвующих в ней стран, так и историков-славистов из стран, в МКИС не представленных. С целью активизации изучения немецкого славяноведения была создана подкомиссия по истории немецкой славистики под руководством профессора Марбургского университета Х. Шаллера.

Председателем МКИС был единодушно избран ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканстики АН СССР д-р ист. наук В. А. Дьяков. Следующие заседания комиссии намечено провести в Брно (ЧСФР) в 1991 г. и в Урбино (Италия) в 1992 г.

В последние годы в МКИС сложилась традиция приурочивать к заседаниям, проходящим вне рамок международных съездов славистов, научные симпозиумы. К Варшавскому заседанию 1987 г., например, был приурочен симпозиум по теме «Славистика на грани XIX и XX вв.», на котором обсуждалось 12 докладов. Участники заседания в Марбурге провели симпозиум по проблеме «Научные контакты славистов славянских и неславянских стран», где было заслушано и активно обсуждалось 19 докладов, в значительной части которых освещался вклад тех или иных ученых-славистов в укрепление научных связей славянских и неславянских стран: С. Хафнер (Австрия) говорил о Н. С. Трубецком; И. Зеехазе (ГДР) — о переписке Э. Шулльвайса с М. Мурко; Г. Димов (Болгария) — о письмах И. Шишманова; Д.-Ч. Стоун (Великобритания) — о польских друзьях анг-

лийской славистки Моники Гарднер А. Н. Горянинов (СССР) — о Д. Н. Егорове и его поездке в Германию в 1928 г.; А. В. Бондарко (СССР) — о роли Компидора в развитии аспектологии; С. Бонацца (Италия) — об итальянских контактах Ф. Миклошича; Л. Минкова (Болгария) — о связях Л. Каравелова с немецкими славистами; В. Тыпкова-Заимова (Болгария) — о французских связях И. Иванова; Х. Шаллер (ФРГ) — об отношениях Э. Бернекера со славистами славянских стран. Ряд докладов касался печатных и рукописных материалов, затрагивающих тематику симпозиума (выступления польских ученых: С. Урбаньчика о «Славистическом ежегоднике» Краковской академии знаний и М. Басая о славянской проблематике в польских журналах начала XX в.; швейцарского слависта П. Бранга — о проекте сбора документации по швейцарско-восточноевропейским научным связям; В. Цайля из ГДР — о значении для истории славистики переписки между немецкими и славянскими славяноведами). Другие сделанные на симпозиуме доклады были посвящены истории научных контактов скандинавских славистов (Г. Якобсон, Швеция) и русско-шведско-немецким научным контактам XVII — начала XVIII в. (А. С. Мыльников, СССР), проблеме зарождения славяноведения в Словакии (Т. Ивантишинова, В. Матула, ЧСФР), славистическим исследованиям в Берлине до середины XX в. (Х. Порт, Германия).

Подводя итоги симпозиума, В. А. Дьяков отметил полезность сделанных сообщений, плодотворность состоявшейся дискуссии и от имени участников выразил искреннюю благодарность Х. Шаллеру и другим организаторам заседания и симпозиума в Марбурге.

Горянинов А. Н.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Прокофьев Н. А. Научная сессия Международной комиссии по истории славяноведения. — Советское славяноведение, 1972, № 6; Прокофьев Н. А. Международный научный симпозиум по истории славистики. — Советское славяноведение, 1976, № 2; Прокофьев Н. А. Заседания Международной комиссии по истории славистики. — Советское славяноведение, 1978, № 4; В. Д., А. М. Берлинское заседание Международной комиссии по истории славистики. — Советское славяноведение, 1981, № 4.
2. А. Г. Братиславское заседание Международной комиссии по истории славистики и симпозиум «Актуальные проблемы истории славистики». — Советское славяноведение, 1985, № 6.
3. Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym, 1918—1939. Cz. 1. Wrocław, etc., 1989.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ МИРА В ТВОРЧЕСТВЕ КАРЕЛА ЧАПЕКА И ТОТАЛИТАРИЗМ ХХ ВЕКА»

1990 год можно назвать «годом Карела Чапека», 100-летие со дня рождения которого вызвало целый ряд научных мероприятий как на родине писателя, так и за ее пределами¹. Завершением этого ряда стала международная конференция, организованная Институтом славяноведения Польской Академии наук (ИС ПАН) и Чехо-Словацким культурно-информационным центром в Варшаве.

Конференция, проходившая в Варшаве 1 и 2 октября в гостеприимной атмосфере Дома чехословацкой культуры на Маршалковской, напоминала не официальную акцию, а непринужденную дискуссию и о том, что нового в чапековедение внесла современная наука, и о том, чем созвучен К. Чапек сегодняшнему дню, нынешнему сложному времени, когда человечество хоть и трудно, но хочется надеяться, навсегда расстается с несвободой тоталитарных режимов, командно-бюрократических систем, уступающих место демократическим механизмам отлаживания общественных отношений.

Организаторы конференции, инициатором которой принадлежит известной польской славистке, проф. Г. Янашек-Иванчиковой, много лет возглавлявшей сектор славянских литератур и компаративистики ИС ПАН, предлагали вниманию участников такие вопросы, как философский плюрализм Чапека, его научная фантастика в контексте экофилософских проблем современного мира, отношение писателя к национальным и культурным меньшинствам, концепция массовой культуры автора сборника «Марсий или по поводу литературы», традиции чапековской эстетики в современной чешской литературе, роль К. Чапека в процессе демократизации общества в Чехословакии и за ее пределами. Большинство этих актуальных проблем в той или иной мере затрагивалось на конференции, которая, однако, по своему содержанию оказалась, как это часто бывает на практике, достаточно пестрой и разнообразной, выплеснувшись за рамки своей главной социально-философской темы. Ее доклады можно разделить на три комплекса: концептуальные, связанные с исследованием

основных сущностных особенностей взглядов и творчества писателя; посвященные анализу отдельных жанров, произведений, сторон чапековского наследия, поэтики Чапека; доклады компаративистского плана, соотносящие Чапека с отечественной и зарубежной литературой.

Конференцию открыл доклад «К. Чапек и общество» Г. Янашек-Иванчиковой, включивший творчество великого чешского гуманиста в современный контекст массовых движений за демократизацию общества, против скомпрометировавших себя политических систем. В нем были показаны актуальность, бессмертие Чапека, одного из последовательнейших защитников демократии, которая понималась им как реализация прав человека. Характеризуя мировоззрение Чапека докладчица акцентировала его скептическое отношение к революции, бессильной, по мнению писателя, что-либо изменить в человеческой природе, и его убеждение, что зло порождает зло. Характеризуя особенности и типы тоталитарных государств, Г. Янашек-Иванчикова отнесла к ним и государство советское, в основу которого легла благородная идея освобождения масс, превратившаяся на практике в свою противоположность.

Р. Пытлик (Прага) конкретизировал проблему «Чапек и европейская культура», сосредоточившись на анализе прозаических миниатюр писателя, публиковавшихся в периодике и изданных в сборнике «Критика слов» (1920). Рассуждая о смысле и бессмыслице употребления отдельных слов, понятий, словосочетаний (например, «творчество», «принцип», «фраза», «чужие влияния» и т. д.), Чапек проявил себя борцом за чистоту языка, ненавидящим стереотипные мысли, расхожие фразы, фальсифицирующие правду. «Критика слов» была прежде всего критикой официальной печати, как рупора официальных идей, как мощного средства манипулирования общественным мнением. Это сближало Чапека с постпозитивистским течением критического рационализма. Р. Пытлик показал близость затрагиваемых Чапеком проблем к сфере интересов Э. Э. Киппа и влияние на молодого Чапека австрийского сатирика и публициста К. Крауса.

Во многих докладах так или иначе

¹ Информация о чапековской конференции в Москве, в декабре 1989 г. опубликована в журнале «Советское славяноведение», 1990, № 4, с. 125—126.

затрагивались связи К. Чапека с Т. Г. Масариком, объединенных многолетней дружбой, которая нашла отражение на страницах чапековских «Бесед с Масариком» (1928—1935). История их взаимоотношений, примечательная как для писателя, так и для политика, относилась до последнего времени к «белым пятнам» в чапековедении, чем и объясняется повышенное внимание к ней сегодня, в том числе и со стороны участников варшавской конференции.

В докладе «„Беседы с Масариком“», прочитанные в 1990 г.» З. Недзеля (Краков) описал образ собеседника К. Чапека, встающий со страниц его произведения, в чем-то родственного диалогам Платона. Масарик предстает личностью глубоко нравственной, стремившейся «скрыть в правде». Сторонник буржуазной демократии, не приемлющий коммунизма, он подчеркивал роль ярких индивидуумов как в истории, так и в современности. Истинный европеец, слабо знавший, по его собственному признанию, восточную культуру, он говорил, что лучшие из русских были европейцами. Большой ценитель поэзии, Масарик считал, что чешские поэты открывают ему глаза на национальные слабости и проблемы.

И. Полачек (Брюно) попытался сравнить «Беседы с Масариком» с «Заочным допросом» (1986) В. Гавела, которого «допрашивал» в 1985—1986 гг. К. Гваждял, чешский писатель-эмигрант. Рассматривая «Заочный допрос» как систематизацию идей В. Гавела, докладчик пришел к выводу об известной внутренней близости «двух президентов», что неслучайно, так как В. Гавел рос в «идейной атмосфере масариковского гуманизма». Оба президента встали на путь политической деятельности без особой охоты, по необходимости, оба проявляли себя последовательными демократами, оба подчеркивали особую роль интеллигенции (Гавел, например, видел эту роль в «оживлении стоячих вод»), обоим присущ интерес к религии, к проблемам взаимоотношения церкви и государства, хотя один из них был теистом, а другой атеистом.

Название доклада декана философского факультета Карлова университета Ф. Черного «Человек в окружении», по его мнению, выражает одну из домinantных проблем и коллизий чапековского творчества. Хороппий человек, оказавшийся «в окружении, в осаде», был всегда близок и симпатичен Чапеку, стал одним из главных героев его произведе-

ний, а коллизия противостояния личности обществу, обстоятельствам, волновала писателя с юности, что подтверждается и драма «Разбойник» (1920), и последующие драматургические произведения — «Р. У. Р.» (1921), «Белая болезнь» (1937), «Мать» (1938).

Професор Сорбонны Г. Ехова в докладе «Обыкновенный человек в творчестве Чапека» показала многомерность этого человека, как бы состоящего из нескольких экзистенций, заявляющих о себе в разных обстоятельствах. Обыкновенный человек в понимании Чапека не есть «серый человек». Важна мысль докладчицы о том, что в творчестве Чапека психология преобладает над идеологией, и что обратный приоритет губителен для искусства.

Проф. В. Навроцкий (Варшава) проанализировал выступление К. Чапека «Почему я не коммунист» (1924) (ответ на анкету журнала «Přítomnost»). В отличие от целого ряда западных интеллигентов, видевших в коммунизме идеальную общественную систему, К. Чапек, как подчеркнул В. Навроцкий, считал его утопией, признавая, однако, и известные преимущества коммунистических убеждений. Критика коммунизма К. Чапеком имела не только нравственные источники: писатель не признавал теорию классовой борьбы, не желая социальной дезинтеграции мира, не верил в действенность революции. Взгляды Чапека сопоставлялись со взглядами П. Флоренского, Н. Бердяева и польского католического философа XIX в. Ю. К. Санявского.

Тоталитаризм был источником беспокойства и объектом критики целого ряда писателей XX в., в том числе польских. Об этом напомнила К. Кардини-Пеликанова (Брюно). Обратившись к драматургии К. Чапека и С. И. Витковича, близкого к экспрессионизму и сюрреализму, проанализировав камерно-психологические пьесы М. Наликовской-Яснояжевской, докладчица сконструировала «модель анти тоталитарной драмы в польской и чешской литературе межвоенного периода».

В докладе «Гуманистическая сущность человека и образ диктатора в творчестве К. Чапека» проф. С. В. Никольского (Москва), чьи большие заслуги в исследовании и защите творчества К. Чапека, на которого в Чехословакии после февраля 1948 г. едва не был наложен запрет, общеизвестны (об этом свидетельствовали и ссылки на его работы участников конференции), было показано, что проблемы демократии и тоталитаризма связаны в

сознании писателя с вопросом о человеческой сущности, волновавшим его не меньше, чем вопрос «что есть истина?». Вера К. Чапека в человека, в его добroе начало, понимание прогресса как процесса гуманизации личности, не закрывали ему глаза на людские пороки, а оппозиция человека и псевдочеловека, человека и механизма, «человеческого» и «животного» начала проходит через все социально-философские произведения К. Чапека, видевшего в феномене диктаторства одно из самых зловещих проявлений обесчеловечивания жизни.

К. Балабанова (София) в докладе «Чапек и защита демократии» представила автора трилогии «Гордубаль», «Метеор», «Обыкновенная жизнь» неутомимым искателем вечных ценностей бытия, решительно отвергавшим насилие, всегда несущее в себе элементы диктатуры и антидемократическое по своей природе. Сопоставляя К. Чапека с Д. Оруэллом Е. Замятином, докладчица пришла к выводу, что творчество Чапека более реалистично и оптимистично, и что он не лишает историю перспективы.

Свидетельством расширения круга исследователей К. Чапека стал доклад сербскохорватца Б. Зелиньского (Познань) — «Чапек и Андрич, агерическая и героическая концепция мира и человека», где, по мнению некоторых участников конференции, при всей плодотворности и свежести сопоставлений, были недостаточно учтены различия между этими художниками, восходящие, в частности, к различиям культурного менталитета мира Андрича и Чапека, к специфике взаимивших обоих писателей национальных условий.

Чапека нередко упрекали в «релятивистском равновесии», не учитывая при этом исторический контекст его релятивизма. В докладе Л. Н. Будаговой (Москва) «К. Чапек и духовная экология чешской межвоенной культуры» был подчеркнут позитивный смысл чапековской философии. В условиях политического и эстетического экстремизма, ставшего одной из характерных черт нашей эпохи, философия Чапека подрывала идеологические основы тоталитаризма, служила противоядием против безапелляционной самоуверенности популяризных в XX в. социально-философских течений разных мастей, одинаково претендовавших на монопольное владение истиной. Особо была рассмотрена проблема взаимоотношений Чапека с чешским авангардом, между которыми при внешних разногла-

сиях было много общего, в первую очередь — решительная защита свободы творчества от власти идеологических доктрин, мешавших непредвзятому восприятию жизни.

И. Зарек (Сосновец) обратился к блистательным апокрифам К. Чапека, дававшим неожиданную, остроумную и, как правило, заземленную трактовку высоких сюжетов. Докладчик раскрыл антидидактический смысл этих произведений, уделил внимание их гносеологической функции — разрушать традиционные концепции мира, стимулировать поиск правды, что и было подчеркнуто в формулировке темы доклада — «Апокриф и правда в понимании К. Чапека».

Взаимоотношения между событием и его комментарием, субъектом и объектом, описанием и повествованием в чапековской публицистике проанализировал В. Тодоров (София — Прага) в докладе «Фикция и факт в творчестве К. Чапека». Он показал, как искусно балансировал Чапек между фикцией и правдой, литературой и жизнью, сюжетом и бессюжетностью, абстракцией и предметностью и т. д., руководствуясь стремлением завоевывать читателя.

«Роль творчества К. Чапека в Лужицкой Сербии» осветил Ф. Шен (Будышин), особо подчеркнувший интерес чешского писателя к проблемам культурного развития национальных меньшинств и специально остановившийся на процессе популяризации его произведений среди сербо-лужичан, чему немало способствовали переводы М. Новака-Нехоронского.

С нетрадиционным для научной конференции сюжетом выступила словакистка А. Канторович (Варшава). Ее доклад «Женщины в публицистике К. Чапека» затрагивал тему отношения писателя к противоположному полу и вызвал дискуссию по проблеме «женщины в жизни Чапека».

Ф. Вшетичка (Оломоуц) проанализировал мир чапековского «Разбойника» в контексте ибсеновской и отечественной драматургии, подметив близость к этой вещи некоторых пьес Ф. Грубина, особенно «Хрустальной ночи» (1961).

«На периферии творчества К. Чапека — сказка» — так назвала свой доклад Л. Спирка (Сосновец), раскрыв значение и привлекательность этого жанра. Были подчеркнуты эпиграммный характер чапековской сказки, свойственная ей магия языка, ее философский, а не дидактический характер.

Выступая в дискуссии, известныйполь-

ский славист проф. Ю. Магнушевский признал, что считает Чапека не философом, не мыслителем, а писателем-интеллигентом, тесно связанным не только с высоким искусством, но и с паралитературой, и не забывавшим о плебейской генеалогии чешской изящной словесности. Продолжив разговор о масштабах и характере личности Чапека, З. Недзелья подчеркнул ее цельность, связь между философскими и эстетическими взглядами писателя, его философскими и художественными произведениями. На особую интуицию Чапека, на его воинствующее антидоктринерство обратила внимание Г. Янашек-Иваничкова, активно выступавшая в дискуссии и предложившая ряд новых ракурсов исследования творчества писателя. В. Навроцкий прошел параллель между творчеством К. Чапека и М. Домбровской. Ф. Черный приветствовал попытку К. Кардини-Пеликановой включить драматургию Чапека в экспрессионистскую традицию, но подчеркнул реализм чешского писателя. Выступая по проблеме «Чапек и Масарик», Ф. Черный привлек внимание к сборнику статей писателя, которые в большей мере, чем знаменитые «Беседы», позволяют проследить процесс открытия Чапеком Масарика. Много интересного содержали выступления В. Тодорова,

Р. Пытлика, К. Балабановой, И. Полачека, подметившего диалогичность чешско-публицистики, Г. Еховой, призвавшей исследовать большое влияние Чапека на европейскую интеллигенцию и т. д.

Всякий юбилей — это истинное испытание юбиляра современностью. Прошедший год подтвердил, что Чапек с честью выдержал это испытание, что в ходе происходящей сейчас интенсивной переоценки ценностей, когда низвергаются бывшие святыни, авторитет Чапека лишь растет. История подтверждает, что в спорах с с ним его современников и потомков правда была на стороне великого гуманиста. Недаром зачитанное на конференции письмо румынского литературоведа К. Барборека было озаглавлено «Вечие слова К. Чапека».

Конференция в Варшаве, проходившая в новой политической обстановке, после кардинальных перемен как в Польше, так и в тех странах, откуда прибыли ее участники, продемонстрировала неизменное стремление литературоведов этих стран к сотрудничеству, к профессиональной консолидации, столь необходимой в наше сложное время.

Материалы конференции готовятся к публикации.

Будагова Л.

175-ЛЕТИЕ ЛЮДОВИТА ШТУРА

25 декабря 1990 г. в Институте славяноведения и балканстики АН СССР состоялась научная сессия, посвященная 175-летию со дня рождения Людовита Штура — словацкого поэта, филолога, общественного деятеля и руководителя национально-освободительного движения 40-х годов XIX в. Открывая сессию, заместитель директора Института д-р филол. наук В. А. Хорев подчеркнул важность изучения проблемы славянской взаимности, которой во многом была посвящена творческая деятельность Л. Штура, в наши дни обострения международных проблем.

Доклад д-ра ист. наук Т. М. Исламова — «Исторические условия и предпосылки развития словацкого национального движения (1830—1840)» как бы сразу ввел проблематику научной сессии в широкие рамки проблем всего слав-

янско-балканского региона, представив квалифицированный анализ исторической ситуации, сложившейся на рубеже XVIII—XIX вв. не только в Словакии, но в Хорватии, Сербии, Румынии, Венгрии и других местностях империи Габсбургов. Приведенный богатый фактический материал послужил широким полем для сопоставительного анализа политических, экономических, культурных и конфессиональных отношений в регионе.

Доклад д-ра филол. наук Л. Н. Смирнова был посвящен на первый взгляд более узкой теме, освещавшей лишь одну из сторон деятельности Штура — его вклад в формирование литературного словацкого языка. Тем не менее этот вопрос был основополагающим в большинстве стран региона в эпоху национального Возрождения. В Словакии же он был практически решен именно Шту-

ром, и докладчик глубоко осветил как ведущиеся вокруг этой проблемы споры, так и саму ее суть, а также подробно охарактеризовал проделанную Штуром работу в этой области, его деятельность по внедрению нового литературного языка в жизнь.

В докладе канд. филол. наук Н. В. Шведовой «Л. Штур и развитие словацкой поэзии» анализировалось поэтическое наследие Штура, обычно остававшееся в тени его филологической и общественно-политической деятельности. Словацкий романтизм, называемый также «штуринской школой», выдвинул ряд блестящих имен (Я. Краль и др.), однако и сам Штур был значительной фигурой своей «школы», пусть и не первоочередной. В его творчестве были опробованы многие темы, жанры, образные приемы и элементы стихотворной техники, характерные для словацкого романтизма, а поздняя лирика Штура давала импульсы развитию словацкой поэзии второй половины XIX в. Е. Н. Масленникова, с одной стороны, продолжила предыдущую тему, сконцентрировав свое сообщение именно на вопросах поэзии, а с другой — попыталась вслед за первым докладчиком ввести проблематику деятельности Штура в более широкий межрегиональный контекст, сопоставив его творчество с развитием венгерского романтизма, в частности проанализировав соотношение «штуринской школы» с творчеством Ш. Петефи.

Канд. филол. наук В. В. Усачева сосредоточила внимание на вкладе Штура в славянскую фольклористику, что само по себе — крупная проблема в свете развития романтических течений в лите-

ратурах стран Центральной и Юго-Восточной Европы.

Доклад канд. филол. наук И. А. Богдановой касался трактата Л. Штура «Славянство и мир будущего» в системе славянофильства. Особый интерес к нему был обусловлен как тем фактом, что именно это произведение Штура до сих пор оставалось за пределами внимания советской науки, так и умением докладчика связать идеи словацкого общественного деятеля с проблемами сегодняшнего дня.

Канд. ист. наук Г. Ю. Харциева осветила основные моменты деятельности Штура как организатора словацкого национального движения 30—40-х годов XIX в., коснувшись публицистического творчества Штура, его деятельности по формированию программы национально-освободительного движения, а также его участия в работе сейма.

Ограниченностю рамками жанра научной хроники, к сожалению, не позволяет подробно осветить все поиски новых подходов не только к творчеству Штура, но и к национально-освободительному движению в 30—40-х годах в Словакии и другие связанные с этим вопросы. Одной из несомненных заслуг организационного комитета является привлечение к участию в сессии специалистов различного профиля, что позволило поставить многообразное творчество Л. Штура в широкий славяно-балканский контекст. Это представляется особенно важным как объект дальнейших исследований, которые могут быть проведены только в таком комплексном Институте как ИСБ АН СССР. Предполагается публикация материалов научной сессии средствами малой печати.

Масленникова Е. Н.

ПАМЯТИ ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА МАСЛОВА

Летом минувшего года славянская филология понесла невосполнимую утрату. 28 августа 1990 г. в Ленинграде после тяжелой и продолжительной болезни скончался Юрий Сергеевич Маслов — видный советский языковед, доктор филологических наук, профессор Ленинградского университета.

Ю. С. Маслов — германист по исходному филологическому образованию. После учебы на немецко-английском отделении Украинского института языкового

просвещения в Киеве [здесь он родился 5 мая (22 апреля) 1914 г.] в 1934 г. он поступает на лингвистический факультет Ленинградского университета, который и заканчивает в 1937 г. по немецкому отделению. В 1937—1940 гг. он был аспирантом филологического факультета этого университета, где в 1940 г. защитил кандидатскую диссертацию «Возникновение сложного перфекта в немецком языке». В последние предвоенные годы началась и педагогическая деятельность

Ю. С. Маслова: в 1940—1941 гг. он уже заведовал кафедрой общего языкоznания во 2-м Ленинградском институте иностранных языков. В годы Отечественной войны и до 1950 г. Ю. С. Маслов служил офицером в Советской армии.

После войны Ю. С. Маслов возвращается в Ленинградский университет, в котором и продолжилась вся его последующая интенсивная преподавательская и научная деятельность в должности доцента (1946), профессора (1959) и заведующего кафедрой общего языкоznания (1960). Параллельно в течение десяти лет (1950—1960) Ю. С. Маслов работал в Институте славяноведения АН СССР. Это были исключительно плодотворные его годы в области славянского языкоznания. Здесь в 1958 г. Ю. С. Маслов защитил докторскую диссертацию «Глагольный вид в современном болгарском языке».

В славянской филологии Ю. С. Маслов известен как автор блестящих работ по проблемам глагольного вида в славянских языках (главным образом в болгарском) и грамматики болгарского языка. Он общеизвестный глава советской школы, внесшей значительный вклад в современную аспектологию. Тематика его аспектологических работ, а в их числе и такие монографические исследования как «Глагольный вид в современном болгарском литературном языке» (в кн.: Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959), «Морфология глагольного вида в современном болгарском литературном языке» (М.—Л., 1963) обширна: грамматическое значение вида, его формальное выражение и функционирование, взаимодействие вида с категорией времени и другими категориями глагола, с различными группами лексики, сопоставление глагольного вида в славянских и неславянских языках и др.

Перу Ю. С. Маслова принадлежит серия интересных работ и по иным вопросам грамматики (главным образом морфологии), звукового строя болгарского литературного языка, болгарской орфографии и орфографии. Славистам и особенно болгаристам хорошо известны его «Очерк болгарской грамматики» (М., 1956) и «Грамматика болгарского языка», вышедшая в Москве в 1981 г. на русском языке и сразу же переведенная на болгарский язык («Грамматика на български език». София, 1982).

Интерес к болгарскому языку возник у Ю. С. Маслова в связи с его пребыва-

нием в Болгарии в сентябре 1944 г. Этот язык стал любимейшим предметом его научных занятий, и именно в лингвистической болгаристике он добился выдающихся успехов, поставивших его имя в первый ряд авторитетных советских славистов-языковедов. Ю. С. Маслов любил Болгарию, а болгарские лингвисты с большим уважением относились к нему как одному из крупнейших зарубежных болгаристов нашего времени. Ученый совет Софийского университета неоднократно предпринимал попытки присвоить Ю. С. Маслову, награжденному болгарским орденом Кирилла и Мефодия I степени, звание почетного доктора Университета, оставшиеся, к сожалению, безрезультатными.

Ю. С. Маслов — автор многих работ по разным проблемам современного теоретического языкоznания: стратификации языковой структуры и языковому варьированию, теории морфемы, морфонологии и фонологии, теории письма, типологии языков и др.

За долгие годы преподавательской работы в Ленинградском университете Ю. С. Маслов читал курсы лекций, отличавшиеся высоким научным уровнем и методической стройностью. Подтверждением этому служит и его хорошо известное университетское пособие «Введение в языкоznание» (М., 1975).

Ю. С. Маслов был участником IV, V и VI Международных съездов славистов, X и XII Международных съездов лингвистов, многих международных и внутрисоюзных научных конференций, симпозиумов и совещаний. Как многоопытный профессор, он был желанным гостем целого ряда европейских университетов.

Коллеги и многочисленные ученики Ю. С. Маслова запомнят его доброжелательным, внимательным, тактичным и обязательным человеком.

...Похоронили Юрия Сергеевича 31 августа, в последний день летних студенческих каникул, на Серафимовском кладбище в Ленинграде, где за несколько лет до него был похоронен его сын Сергей, молодой доктор физико-математических наук, погибший в автомобильной катастрофе. А через две недели после смерти Ю. С. Маслова скончалась и его супруга — С. С. Маслова-Лашанская, доктор филологических наук, долгие годы преподававшая шведский язык в Ленинградском университете.

Венедиктов Г.

НОВЫЕ КНИГИ

В Институте славяноведения и балканистики АН СССР опубликованы офсетным способом следующие издания:

1) Славянские и балканские культуры XVIII—XIX вв. Советско-американский симпозиум. М., 1990 (185 с. Тираж 400 экз. Цена — 1 руб. 40 коп.)

2) Италия и славянский мир. Советско-итальянский симпозиум *in honorem Prof. E. LoGatto*. Сб. тезисов. М., 1990 (121 с. Тираж 500 экз. Цена — 1 руб.)

3) Сборник статей: *Studia slavica. Языкоизнание. Литературоведение. История. История науки. К 80-летию Самуила Борисовича Бернштейна*. М., 1991 (374 с. Тираж 600 экз. Цена — 3 руб. 40 коп.)

Их можно приобрести только в Институте (117334, Москва, Ленинский пр-т, 32-а, корпус В), направив заявку. Книги высыпаются наложенным платежом.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

Państwo, naród stany w świadomości wieków średnich: Pamięci Benedykta Zientary, 1929—1983. Warszawa, 1990, 268 s.

Pasek J. Ch. Pamiętniki: Wybor. Wrocław etc., 1990, 144 s.

Pop I. Avangarda *in literatura română*.— Buçuresti, 1990, 447 p.

Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. Knj. 1, sv. 1, 2. A — *Cenina: Cenitel — drištavica*. Zagreb, 1984—1985.

Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. Knj. 1, sv. 3. Dristlo — hirkanski. Zagreb, 1986.

Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. Knj. 2, sv. 5. *Kale — lazno*. Zagreb, 1989.

Problemi di morfosintassi delle lingue slave. Bologna, 1990.

Sałajczykowa J. Twórczość literacka Lwa N. Łunca. Wrocław, 1990, 143 s.

Siwicki J. Z. VII obwód Okręgu warszawskiego Armii Krajowej «obroża». Warszawa, 1990, 379 s., il.

Stawecka K. Maciej Kazimierz Sarbiewski — prozaik i poeta. Lublin, 1989, 200 s.

Terlecki R. Oświata dorosłych i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii. Wrocław etc., 1990, 262 s., il.

Zeligowski L. Wojna w roku 1920; Wspomnienia i rozważania. Wyd. 2-e. Warszawa, 1990, 159 s., m., 8 ark m.

The spirit of Thomas G. Masaryk, 1850—1937; An anthology. London, 1990, 267 p.

Uruszczak W. Korektura praw z 1532 roku: Studium historycznoprawne. Warszawa — Kraków, 1990, T. 1, 277 s.

Wiener slavistisches Jahrbuch. Wien, 1989, Bd. 35. 272 s.

View in the Serbo-Croatian language service at the voice of America: Hearing before the Subcomm. in intern. operations of the Comm. on foreign affairs, House of representatives, 101st Congr., 2d. sess., June 19, 1990. Washington, 1990, 112 p.

CONTENTS

DISCUSSIONS

- International relations and states of Central and South-Eastern Europe on the eve of the German aggression against the USSR (September, 1940 — June, 1941).
Kuznechevskiy Vl. D. A letter to the editorial board

3

ARTICLES

- Ghibianskiy L. Y.* To the history of the Soviet-Yougoslavian conflict of the 1948—1953. The secret Soviet-Yougoslavian-Bulgarian meeting in Moscow, 10 February, 1948. *Valenta Y.* (ČSFR). A «case» of marshal M. N. Tuhachevskiy (to the problem of chronology and interpretation). *Vasilevskiy Tadeusz.* (Poland). The Slavic origin of Solounian Brothers Konstantine-Kyrill and Methody. *Horeva O. A.* Actual problems in the study of Czech culture of the middle of the XIX century. (From «Czech culture of the XIX century» to the study of culture of ethnically heterogeneous society of the Czech lands? Putting of the problem). *Petrova L. Y.* To the problem of Old Slavic translation of Gregor the Theologist Oration. *Moloshnaya T. N.* Analytical forms of oblique moods in Slavic languages

27

COMMUNICATIONS

- Klein L. S.* The heathen approach towards linguistics. *Kishkin L. S.* Sreznevskiy in Slovakia (by the stuff of family archives). *Marojevich Radmilo.* (SFRJ). First Russian translations of Chasanaghinitsa (the poetic dispute between Vostokov and Pushkin)

88

REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

- Polyvianyi D. I.* Ангелов П. Българската средновековна дипломация. *Pahomov Y. V.* Дашић М. Увод и историју са основата помоћни istorijskih nauka. *Anikin A. E.* А. Sabaliauskas. Lietuvių kalbos leksika. *Orel V. E.* Цыганенко Г. П. Этимологический словарь русского языка

106

NOTES OF BOOKS

- Melnikov G. P.* Království dvojího lidu. Ceské dějiny let 1436—1526 v soudobé korespondenci. *Serapionova E. P.* Е. Фирсов. Эволюция парламентской системы в Чехословакии в 20-е годы. Спецкурс. *L. K.* Information about Russia in Czech calendars of the XIXth century. *Vasilyev M. A.* Джон Симеон Габриэль Симмонс. Указатель славяноведческих работ. Составитель А. Б. Свидер

114

SCIENTIFIC LIFE

- Goriainov A. N.* Marburg session of the International Commission on the history of Slavic studies. *Budagova L.* International conference «Democratic vision of the world in the creative activities of Karel Čapek and totalitarianism of the XXth century». *Maslennikova E. N.* The 175th anniversary of Ludovit Stur. *Venediktov G. K.* In memory of Yuri S. Maslov New books

119

127

Технический редактор *E. B. Синицына*

Сдано в набор 10.04.91	Подписано к печати 31.05.91	Формат бумаги 70×108 ^{1/16}
Высокая печать	Усл. печ. л. 11,2	Усл. кр.-отт. 11,9 тыс.
Тираж 1026 экз.	Зак. 1324	Уч.-изд. л. 13,0

Бум. л. 4,0
Цена 1 р. 50 к.

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский просп., д. 32а
Телефоны 938-01-20, 938-08-09

2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

1 р. 50 к.

Индекс 70891

Глубокоуважаемые читатели!

Журнал «СОВЕТСКОЕ СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ» имеет возможность поместить на своих страницах Вашу платную рекламу.

Наш журнал существует более четверти века и имеет серьезную научную репутацию. Круг его читателей — это советские и зарубежные научные работники, преподаватели, студенты, специалисты в области истории, культурологии, литературоведения, лингвистики. Его выписывают крупнейшие библиотеки и научные центры как СССР, так и зарубежных стран.

Наша реклама принесет Вам известность в интеллектуальном мире.

С предложениями о публикации рекламы

Вы можете обращаться по адресу:

117334, Москва,

Ленинский пр-т, д. 32-а,

редакция журнала «Советское славяноведение».